

НОВЫЙ СВЕТ

Литературно-художественный журнал

Канада • 2015 • №3



ISSN 2292-7484

Содержание

ПОЭЗИЯ

Анатолий Аврутин
Стихи.....3

Евгения Бильченко
Монолог Дон Кихота.....7
Школьники.....8
Кривым зеркалам.....8
Счастье: попытка определения.....9
Песня о всаднике с головой.....10

Татьяна Дзюба
Триптих.....11
Почтовый вагон.....14
Химерные седые пилигримы.....15

Алексей Борычев
Время небесное — пыль на обочине.....16
Подневный романс.....16
А надо ли!..17
Ночной романс.....17
Наши вечности.....18

Василий Толстоус
Пожелать.....19
Райский сад.....20
Смерть.....20
Душа.....21
Вгалерее.....23

Давид Блюм
Город моей мечты — Тель-Авив.....24
Да — это Хайфа!.....24
Натания — любовь моя.....25

ПРОЗА

Олег Корниенко
Жизнь за смерть (повесть).....26

Виталий Аронзон
Три письма, или один день
из жизни пенсионера.....50

Виктор Арнаут
Меченые караси.....51

Федор Ошевнев
Почему процесс не пошел?.....53

Михаил Блехман
До следующей остановки.....55

Владимир Шумилов
Вакцина.....57

Николай Тимохин
Ходячий мертвец.....58

Елена Думрауф-Шрейдер
Галка.....59

ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРКИ, ЭССЕ

Александр Сидоров
«Блаженное наследство»
О. Мандельштама.....64

Галина Врублевская
Гора Фудзи и просто Яма.....69

ПЕРСОНА, СОБЫТИЯ

Иосиф Милькин
Глазами очевидца.
Как я ходил к Кирову.....71

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Михаил Спивак
Подлинная история Винни-Пуха.....72

Поэзия

Анатолий Аврутин

СТИХИ

По русскому полю, по русскому полю
Бродила гадалка, вещая недолю.
Где русская вьюга, там русская вьюга,
Там боль и беда подпирают друг друга.
Там, слыша стенанья, тускнеют зарницы,
Пред ворогом там не умеют клониться.
Там ворон кружит, а дряхлеющий сокол
О небе вздыхает, о небе высоком...

О, русское поле! Гадала гадалка,
Что выйдет мужик, и ни шатко-ни валко,
Отложит косу и поднимет булаву
За русское поле, за русскую славу.
И охнет... Но вздрогнут от этого вздоха
Лишь чахлые заросли чертополоха...
Лишь сокол дряхлеющий дернет крылами
Да ветер шепнет: «Не Москва ли за нами?..»

О, смутное время! Прогнали гадалку...
И в Храме нет места ее полушалку.
Кружит воронье, а напыщенный кочет
О чем-то в лесу одиноко хохочет.
Аль силы не стало? Аль где эта сила,
Что некогда ворога лихо косила,
Что ввысь возносила небесные Храмы?..
Куда ни взгляни — только шрамы да ямы.

Лишь пес одичавший взирает матеро,
И нету для русского духа простора.
В траву одиноко роняют березы
Сквозь русское зарево русские слезы...

Взъерошенный ветер к осине приник...
Одна вековая усталость,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

На бой не вызывают ни горн, ни труба,
Вдали не рыдает гармошка...
Лишь тополь печаль вытирает со лба
Да птицы воркуют сторожко.

Вражина коварен и так многолик!..
Но воинство насмерть сражалось,
Где русские души, где русский язык,
Где русская кровь проливалась.

О, смерд, погибающий в час роковой --
 Ему ни креста, ни могилы.
 Зарублен, он вновь становился землей,
 И голубь взлетал сизокрылый,

Когда он предсмертный выдавливал рык,
 И падал... Все с пеплом мешалось,
 Где русские души, где русский язык,
 Где русская кровь проливалась.

Заброшено поле... Не скачет гонец.
 Давно покосились ворота.
 Неужто все в прошлом?.. Неужто конец?..
 Неужто не вышло полета —

Туда, где лебяжий предутренный крик,
 Где спеет рассветная алость,
 Где русские души, где русский язык,
 Где русская кровь проливалась?..

...Наш примус все чадил устало,
 Скрипели ставни... Сыпал снег.
 Мне мама Пушкина читала,
 Твердя: «Хороший человек!»
 Забившись в уголок дивана,
 Я слушал — кроха в два вершка, —
 Про царство славного Салтана
 И Золотого Петушка...
 В ногах скрутилось одеяло,
 Часы с кукушкой били шесть.
 Мне мама Пушкина читала —
 Тогда не так хотелось есть.
 Забыв, что поздно и беззвездно,
 Что сказка — это не всерьез,
 Мы знали — папа будет поздно,
 Но он нам Пушкина принес.
 И унывать нам не пристало
 Из-за того, что суп не густ.
 Мне мама Пушкина читала —
 Я помню новой книжки хруст...
 Давно мой папа на погосте,
 Я ж повторяю на бегу
 Строку из «Каменного гостя»
 Да из «Онегина» строку.
 Дряхлеет мама... Знаю, знаю —
 Ей слышать годы не велят.
 Но я ей Пушкина читаю
 И вижу — золотится взгляд...

Бредет навстречу дряхленький Мирон,
 Еще с войны контуженный, живучий.
 Извечный завсегдатай похорон
 Других солдат, что в мир уходят лучший...

Он сдал в музей медаль и ордена,
 Он потерял жену, а с ней — рассудок.
 И встречного: «Закончилась война?..» —
 Пытает он в любое время суток.

«Да-да, Мирон, закончилась...Прости,
Что мы тебе об этом не сказали...»
Он расцветает... И звенят в горсти
Монеты на бутылку от печали.

Бутылка так... На первом же углу
Он встречного о том же спросит снова:
«Закончилась?..» Морщинки по челу
От радости бегут не так сурово.

Проклятый век... Шальные времена...
В соседней Украине гибнут дети.
А здесь Мирон: «Закончилась война?..»
И я не знаю, что ему ответить...

Вьюги поздним набегом
Города замели...
Я шептался со снегом
Посредине земли.

В суете паровозной,
У хромого моста,
Стылой ночью беззвездной,
Что без звезд — неспроста...

Я со снегом шептался,
Мне казалось, что он
Только в мире остался —
Ни людей, ни времен.

Хлопья рот забивали
И горчили слегка.
Комья белой печали
Все сжимала рука.

Я шептался со снегом,
Я доверил ему,
Что спасаюсь побегом
В эту белую тьму.

Так мне видится зорче,
Если вьюга и мгла —
Обхожусь, будто зодчий,
Без прямого угла.

А потом — перебегом —
По дороге ночной...
Я шептался со снегом,
Он шептался со мной.

Снег пришел осторожно
И уйдет невзначай,
Как попутчик дорожный,
Что кивнул — и прощай...

Который день, который год,
Труд не сочтя за труд,
И в урожай, и в недород
Их сумрачно ведут.

Штыками тени удлиня,
Ведут, как на убой.
Лениво чавкает земля
От поступи больной.

Лениво падает лицом
Один — в сплошную грязь.
О нет, он не был подлецом,
Но жизнь не задалась.

Лениво обойдет конвой
Обочиной его.
Лишь ворон взмывает по кривой,
А больше — ничего...

И снова, унося в горбах
Свою святую Русь,
Идут кандальники впотьмах
И шепчут: «Я вернусь...»

И снова падает другой
На этот грязный снег.
И год иной... И век иной,
Но тот же — человек.

Негромкий выстрел... Глохнет тишь
От поступи колонн.
Куда отсюда убежишь? —
Из плена да в полон.

Да и не думают бежать
Бредущие толпой.
Они и есть — Святая Рать,
Когда нагрянет бой.

Им просто выдадут штыки,
Ружье на восемь душ...
И станут звезды высоки,
И враг бит к тому ж...

И, значит, тень свою влача,
Топтать им мерзлый наст.
А орден с барского плеча
Страна конвойным даст...

*Евгения Бильченко***МОНОЛОГ ДОН КИХОТА**

Обратись к докторам за справкой —
И ментам предъявляй при встрече:
Сумасшествие — это способ
Избегания дураков.
Если можешь молчать — не твякай:
Лаем псарника не излечишь.
Вынь из шкафа свой детский посох
И сотри с него кровь песков.

Будь смиренным и будь терпимым.
Стой на почве двумя ногами.
Ни за что не буди округу
Истерией случайных драк.
Заливайся дешевым пивом.
Обязательно пей с врагами:
Нет на свете вернее друга,
Чем хороший разумный враг.

Привыкай тяжело, но быстро
Расставаться с родным порогом.
Никогда не торчи под дверью
В ночь от вечности — до среды.
Ухмыляйся в лицо гэбисту.
Приникай к тишине пророка.
Обучайся искусству зверя —
Чуять запахи и следы.

Если можешь, — летай, как птица.
Не умеешь, — скользи, как ящер.
Хочешь гостем быть — стань не прошен
(Если выгонят, — уходи
По-английски, забыв проститься).
Думай только о настоящем,
А когда оно станет прошлым, —
Вырой яму на дне груди.

Ляг на рельс. Поднимись на рею.
Сделай мельницей — Дульсинею.
Собери всех бомжей по люкам
И для них возведи мосты.
Постарайся идти скорее.
Постарайся любить сильнее.
И не жди, что тебя любят
Так же сильно, как любишь ты.

Будь упругим — и будь безбрежным.
Будь известным — и будь бесславным.
Выжидай свой последний «Боинг»,
Как ребенок, на «пуск» косясь.
Проявляй, если хочешь, нежность.
Проявляй, если хочешь, слабость.
Ничего-ничего не бойся,
То есть бойся — всего и вся.

Растворяйся в густом тумане.
 Меряй небо скупым шажочком.
 Притворись молодой икринкой
 В дебрях древней седой реки...

И следи, как в твоём кармане
 Все отчетливее и жестче,
 Как зеленые «семеринки»,
 Наливаются
 Кулаки.

ШКОЛЬНИКИ

Артему Сенчило

Мы воскреснем, мой брат. И снова начнем с азов,
 Как тогда, в первом классе:
 Аз, буки, веда, ять...

Мой бумажный сержант, прорвавшийся сквозь Азов,
 Превратился в корабль — пучину нутром объять.

Он плывет, как дурак, сквозь сотни подводных мин.
 Он летит на одной (той самой, святой) сопле.
 Он буравит морское дно — и спасает мир,
 Прогрызая во тьме большую, как солнце, плешь.

Он глотает свой транк — и тут же впадает в транс.
 Он надел камуфло, как Моцарт — изящный фрак.
 Он давно не страшится грязных зеленых трасс —
 Он давно не страшится гладких холеных фраз.

Мы такое прошли... Бояться ли нам теперь?
 Королей, костылей ли? Сводок телепрограмм?
 Я открыл тебе дверь. Дави на звонок и верь:
 За порогом стоит уже не блокпост, — а Храм.

Там, внутри мириады братьев глядят с икон,
 И тебе никуда не деться от этих глаз...

Мой бумажный сержант поставил себя на кон
 И, когда он взорвется, —
 Сбудется Первый Класс.

КРИВЫМ ЗЕРКАЛАМ

Я рою планету ботами.
 Я пули глотаю гроздьями.
 Из нор выползают «ботаны»:
 Учить меня — чувству Родины.

Учить меня — чувству Матери.
 Учить меня — чувству Господа.
 Они расстилают скатерти.
 Они козыряют ГОСтами.

А пули мои — бумажные:
 «Стихи — это то, что кажется».
 Я сделаю словом —
 Каждого,

Но нужно ли это —

Каждому?

Из букв вылезают нытики —
Нытью, как всегда, не верю я.
Стругает людей на винтики
Вселенская Жандармерия.

Таблички,
Приставки,
Суффиксы...
Преступники стали судьями.
Мне спину свело от судорог:
Любовь избивают прутьями.

Я виделся с Боддхисаттвами,
Шахиду твердил про Ису, но
Не любит Халиф писателей,
И суры давно написаны:

Я знаю, что надо — выстоять.
Я знаю, что надо — выстрадать.
Меня продают — по выставкам.
Меня раздают — на выстрелы.

Меня разъяряют жалостью.
Меня умирят мерками...

Разбейте меня, пожалуйста:
Я — слишком прямое зеркало.

СЧАСТЬЕ: ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Свобода — это когда забываешь отчество у тирана
Иосиф Бродский.

Безымянная, будто в детском кино, звезда
Спит на двенадцатом этаже, но не снятся сны ей.
Наконец-то я понял: счастье — это когда
Из волонтерских мобильных, стирая слово «война»,
Исчезают кликухи и позывные —

И появляются имена.

Имена твоих близких друзей и дальних знакомых:
Всех, кто с тобой остался. Всех, кто тебя покинул.
Даль разрастается, как саркома.
Дождь, опадая с веток,
Бесшумно ползет по Киеву,
Как выходец с того света.

Наконец-то я понял, что обрету покой
После того, как они заколотят
И пустят вниз, дождевой рекой,
Самый последний гроб
С еще теплой душевной плотью,
Расстрелянной прямо в лоб.

Вот тогда, мое счастье, у нас наступит своя весна.
К тому времени наши мышцы
Станут тоньше хвостика мыши.

Но весна все равно наступит: она
Поведет нас к Востоку — за болью и былью.

И мы, удивившись, заметим: мы же
Исчезаем из наших мобильных,

Как волонтерские имена.

ПЕСНЯ О ВСАДНИКЕ С ГОЛОВОЙ

Я видывал оперу эту в гробу:
За мной повторяют мою же судьбу.
Меня поражают моим же мечом,
Украденным неким чужим палачом
Из кузницы, где закаляют хрусталь
До уровня стали. Хорошая сталь —
У всех палачей, как и прежде в цене:

Едва ты с коня, — и они на коне.

Поэтому, парень, дружи с головой.
Прячь хрупкую шею под плащ боевой.
Молчи о болезнях. Кричи о любви,
Не бойся. Не плачь, Не ропщи. Не зови.
Не думай о скорой: больница — не мед.
Ты — мертв. И тебя — только мертвый поймет.
Твой конь деревянный — надежней, чем гроб:

Давай, моя радость, пускайся в галоп!

Лети через горы, поля и луга —
Туда, где ни красть не умеют, ни лгать;
Туда, где росой захлебнулась трава;
Где — кровью из плахи — растет голова,
Как юный побег — из столетнего пня...
Не будет пускай ни тебя, ни меня,
Но дети, войдя под зеленый покров,

Наступят на корни из наших голов.

Татьяна Дзюба

ТРИПТИХ

I

Все беды — не глубже, чем Веды.
Моллюском в зеленом порту
Колышется полночь. К обеду
Ее подожжет на мосту

Луч дня. В синеве полотнища —
Штрих крика отчаянных чаек.
Брось время, как мелочь для нищих. —
Хазарская чайная чарка

Чеканит пути Киммерии.
Прибой обращается в брагу.
Восток — справедлив, как мерило:
Кто выживет:
Раб или каган
В ольвийской земле саркофагов?

II

Я, наверное, с Анатолии — Анатольевна,
анатомией, третьей кожей, Таней,
Загуменной ли, тронной стану?

По-язычески, с до-верой
(собираю хворост, а небо палевое)
Припадаю к веку до нашей эры:
Мосты из Аида — спалены.

III

У калины — осанка муфтия.
Посадив себя, как на клей,
Омела образует мумию
Из кораллов живых ветвей.

Я сама, расстилаясь скатертью,
Самобранкой явлюсь на пир:
Брань и бронь.
Пусть из ранки скатится,
Кровь калины, спасая мир.

* * *

Земля, покрывшись
Скорлупой границ,
В предчувствии
Своих реинкарнаций
Крахмальное приданое
Девыц
По швам кромсает
Для весенних граций.

Звезда сливает хлорофилл зеленый
На косы ив, на лягушачье око,
На мазь аптек, на хаки опаленных
Фронтами роц, на мшистый склеп барокко.

Неясен миг,
Как свистопляска Змия.

И город изумрудный сник.
Сон века –
Веки Вия.

* * *

День отступил вокзальной суетой –
И тени стали длинными, как рельсы,
Ведущие в полуночный тупик.
Его пересекают Донны Анны,
Безвинно обмельчавшие Каренины,
Которым избавление от бед
Всего лишь до рассвета обеспечит
Транквилизатор — средний по цене.

* * *

И сбудется безмолвие надежды.
И победит беспрекословность счастья.
И яблоко расколется, упав,
На дольки две.
Счастливые влюбленные
Тотчас съедят их, не заметив в гуще
Тенистых рощ заплаканную Еву,
Болеющую авитаминозом.

* * *

Режиссер прибьет к сцене
монету
и опять
начнется
театральный
сезон.

Но на этот раз
что-то сойдет
В сценарии
Высшего постановщика,
где всегда было так:
ты в зале –
а я на сцене,
но с точностью до безумья.
Рампа условностей жизни
Нас больше не разделит...

Мы не станем тревожить тени
классиков,
ты
не окрестишь
меня
Офелией,
вдохом из букво-нот
составив простое имя
с музыкой изнутри.

Я сыграю тебе свою юность,
ты сыграешь мне свою верность,
природа четыре раза
декорации перекрасит...

Потом останутся письма,
как билеты на погорелый,
изъятый их репертуара
спектакль,

фото, как неиспользованные
афиши,
порыжелый снег, притоптанный сплин,
рампа и две минуты,

пока не опустят
занавес.

* * *

Всевышний видел, насколько велико растление
людей на земле — все помыслы и деяния их
направлены были на зло во время любое.
И прервалось Его терпение. И сказал Он:
«Сотру людей с лица земли, ибо раскаялся, что
сотворил их».
Ной же заслужил расположение Господа.

Этот троллейбус — ковчег и храм,
он спасает от опоздания на работу,
подобную вечным очередям,
осыпается город соцветьями дальними
фонарей бледнолицых, нацеленных в лоб домам.
День завис парашютом
над полем мещанских забот
и бюргерских шуток,
испаряющих едкий
азот.

А вон, на площади очередного Ноя
выгуливают стерилизованных псов,
пахнет пеклом или смолою
от булгаковских примусов.
После газет икается —
отрыжку рождает помпа...
помнишь библейское раскаяние?
помнишь его, помнишь...
От сотворения мира градус добра не повысился,
зло упрямо играет в свое лото,
у синоптиков — юмор висельников:
опять обещают
потоп.

* * *

Узнав, подсчитав увечья,
По справке, что он здоровый,
Теряешь его навечно,
Пугаясь на стигмах крови.

В изюминках горьких — город
Каштаном покрыт, как пледом:
Сегодня — впервые холод
И теплое — напоследок.

Брусчатка ржавеет мелом:
Здесь дворник — бомжей начальник.
Зачин — потому несмело.
Финал — потому печально.

Погрешность — почти фатальна.
В глазах — не признать зеркал.
На белых свечах каштанов
Горит восковой вокзал.

Вожди развратили Клио.
Карету украли воры.
Ты — мим мирового клипа:
Покаемся Режиссеру.

* * *

Ветер листья гонит в бензобак.
Самокрутки курят дымари.
Дождь судьбы, скрутив крутой табак,
Ниже кольца белые на крик

Лебедей-гусей. Крылом парчи
В снежный цвет окрашен птичий юг.
Осень-бесприданница молчит,
Сыпля перлы из дрожащих рук

Девы со святой дырявой шалью,
Обреченной боль играть, как роль.
Королева, в платье попрошайки,
Где твой голый святочный король?

* * *

Пора поэзии проходит.
Строфа осеннею листвою
Несет обугленную пыль
Чахоточных ноябрьских кленов,
Уже отнюдь не алых — серых
От безразличного дождя.
Пора поэзии проходит.
И мудрый дождь об этом знает
И потому костер разводит
На пепелищах древних грез,
Как инквизиторские книги,
Бросая клочья слова в рифму,
Которую съедает пламя...
А на рассвете дождь, нахлынув,
Огонь преображает в пепел.
Пора поэзии...

ПОЧТОВЫЙ ВАГОН

Вагон-субмарина.
Вкус чая. Хруст хлеба.
И, с облаком пух тополиный сражаясь,
По сахарной ватой оббитому небу
Уносит разлуку, усталость, и жалость,

И все, чем по край наполнялся твой голос, —
То в ярких бравадах, то в истинах голых, —
Так, меряет нитью этап столбовой
Размотанный в провод комок горловой.

Раскрашены буквы. Измяты конверты.
На полках плацкарта царит благодать.
Там спит проводница по имени Вера.
Солдатское пиво. Бродяжья селедка.
Бумажная быстрая детская лодка.

Вагон-субмарина. Битловская вера
В ночной полустанок,
Где можно отстать.

* * *

Время сочится солью,
Как песок из древних часов,

Берedit, выпекает, жжет,
Отдаляется, растворяется,
Становится морем,
Которое поднимает
На волнах воспоминаний.

Досада одна — недолго:
Ведь люди живут на суше,

Где море — соль...

ХИМЕРНЫЕ СЕДЫЕ ПИЛИГРИМЫ

С небес крошилась штукатурка,
И пахло ладаном, и тени белых век,
Как булку, пополам ломали век...
Святых церквей окружностью грешна,
Быльем белья сверкала белизна:
Так пахли булка и моя вина.
И колокол желал достигнуть дна,
Роня ладан в пыль твоих следов,
Рассвет сиял на маковках слядой.
Сквозь иней близорукая весна
Прочесть пыталась строки телеграмм,
Не нужных ни тебе, ни мне, ни нам
Двоим одновременно.
По мостам
Стояли, вдохновенны и легки,
Хранители зимы — снеговики...
Молекулы их тел летели мимо —
Химерные седые пилигримы.

* * *

Время ластится, как собака.
Ложится под ноги.
Тонко скулит секунда,
Встречая поминки.

Перспективы имеют свойство
Сжиматься в точку
Дороги,
Которая ночью,
Когда отключается зажигание, —
Сродни минуте молчания.

А я а тебя гляжу
Глазами Рублева, —
Собаками, фарами и дорогами,
Ночами, машинами и тревогами,
Всеми на свете скудными
Остановившимися секундами.

Обратная перспектива...
Стиль веры — костюмы ретро.
Одной лишь надежды снятся
Модные километры
Цветастых платьев.

* * *

Беру телефонную трубку. Звоню лишь по тем номерам,
 Которые знаю на память. Слышу лишь длинный
 зуммер.
 Именно в этот миг можно услышать то,
 Что хотелось уже давно,
 Но отвечавший «Алло!» голос

Тебе мешал.

С украинского перевела Евгения Бильченко

Алексей Борычев

ВРЕМЯ НЕБЕСНОЕ — ПЫЛЬ НА ОБОЧИНЕ

Время небесное — пыль на обочине.
 Время земное — звезда в небесах.
 Матрица прошлого тьмой обесточена,
 Темью, растущей в полночных лесах.

Где ты, свирельная музыка севера!
 Где ты, плакучая, ну, отзовись!..
 Солнечной пылью печали рассеяны.
 Влагой тоски омывается высь.

Но вырастает прозрачное, светлое
 В сырости, в северной темной тиши,
 И задевает хрустальными ветками
 Легкую тень опустевшей души. —

Вмиг наполняются тонкими звонами
 Кочки болотные, чахлый лесок...
 Полночь напевная! Темень зеленая!
 Слышите, льется бессмертия сок.

Где-то в трясилах кипящими струями
 Он протекает туда, где всегда
 Будут сердца обжигать поцелуями
 Вечного тихого счастья года.

Время небесное — пыль на обочине.
 Время земное — звезда в небесах.
 Матрица прошлого тьмой обесточена,
 Темью, растущей в полночных лесах.

ПОЛДНЕВНЫЙ РОМАНС

Хрупкая девочка Оля. Ромашковый лес.
 Слитки июльского полдня сверкают над нами.
 Синие птицы слетают с белесых небес.
 Мир наполняется снами, прекрасными снами...

Белые, желтые в небе плывут облака.
 Красные, синие бабочки. Пчелы. Стрекозы.
 Озеро. Солнце. Кристальный ручей, как река. -
 Четок полуденный час, нескончаемо розов.

Оля, ты слышишь, как сладко поет глухомань!
Оля, ты видишь, как волны, зеленые волны
Нас увлекают в ленивый дремотный туман,
Счастьем, покоем, свободой заманчиво полный.

С дальних полян прилетает сюда ветерок —
Может быть, это рыдание чье-нибудь, Оля —
Слезы того, кто почувствовать счастье не смог,
И догорел в беспорядочном пламени боли.

Вот по травинке ползет непонятный жучок.
Вот, где-то там, далеко, тихо стонет кукушка.
Как на душе от всего горячо-горячо!..
Жаль, это время с тобою — для сердца ловушка!

А НАДО ЛИ!..

Детства пшеничные рученьки
Долго тянулись за мною.
Утро. Веселые лучики.
Тихое счастье земное.

Стекла оконные бликами
Голову сонно кружили.
А за окошком пиликали
Весны, как вечность, большие.

В дали звенящие, струнные
Я уходил на рассветах,
Где разноцветное, юное
Пело свирельное лето.

Помню, я помню (а надо ли?..)
Вечера влажного грезы.
Помню, как на небе плакали
Мятные душные грозы...

Надо ли, надо ли, надо ли
Помнить об этом и думать...
Чувствую тление падали...
Осени черное дуло...

Детство, за мною бежавшее,
Будущим в сердце убито.
Память, меня согревавшая!
Слышишь,
былое забыто!

НОЧНОЙ РОМАНС

Срывая тихо пуговицы звезд
С небесного изношенного платья,
Разделась ночь. Восток красив, но прост,
Раскинул перед ней свои объятья

И целовал смелеющим лучом,
Восторженно, легко и виновато,
И била страсть из тьмы седым ключом,
Как — помню — и в моей ночи когда-то...

Тебя я помню, лунная моя!
И слезы... и лианы грез лучистых...

Кому в пределах злого бытия
Теперь мерцаешь черным обелиском?

Я помню, как пульсировал апрель!
Как май сторал в лучах твоих неярких!
Ты где?.. Ты где?.. Молчит твоя свирель.
Лишь память шлет дешевые подарки.

Но нет дорожке их... Конечно, нет!
Обрывки весен... памятные даты...

А ночь своею страстью сжег рассвет,
Но тьма воскреснет в похоти заката!

НАШИ ВЕЧНОСТИ

Чего молчишь... за тьмью снова тьма!
И зеркало, разбитое в прихожей.
Осколки на мечты мои похожи.
А за окном — зима... опять зима!

Чего молчишь!.. Скажи хотя бы то,
Как провела очередную вечность?
Как вечности похожи... это нечто!
А ты стоишь. Снежинки на пальто...

Сколь быстры эти вечности у нас!
И с каждым днем и годом — все быстрее...
Я помню снег на липовой аллее.
И солнце юное... Ах, Боже, сколько раз

Мы вечности встречали, провожали,
Вдогонку бегали за ними, а теперь...
Одни круги обид, невзгод, потерь,
Да истин потускневшие скрижали.

Вот ты пришла. Откуда. И зачем.
Плевать на все вопросы и ответы!
Я закурю на кухне сигарету,
И погляжу, как в утреннем луче

Трепещет мир, где ты сияешь! Ты!..
Я полагаю, что бесчеловечно
Опять нести всю муть про это «вечно».
Как будто снова все мы у черты,

Где было все, и вдруг всего не стало
И зеркало разбитое лежит.
И солнцем утро зимнее грозит,
Лучами в нас стреляя, как попало...

*Василий Толстоус***ПОЖЕЛАТЬ**

Никогда не поздно повиниться
и сказать несложное: «Прости...»,
осветить неласковые лица
светом непритворной доброты;
пожелать взлетающему неба
и посадки мягкой у крыльца;
отыскать в жестокий голод хлеба,
а сиротам — маму и отца.
Чтоб однажды тихим, безответным,
и не ждущим благодарных фраз,
безрассудством скромного букета
пересилить вежливый отказ,
на коленях вымолить прощенье.
И тогда, конечно же — тогда
в этот день настанет воскресенье,
пусть с утра и теплилась среда.

Веслом от берега — и прочь,
в густом тумане затеряться.
Когда скрывает лодку ночь,
нетрудно с берегом расстаться.
Прохлада. Тени впереди.
Негромкий всплеск. Вода струится.
Ты в серой мгле совсем один,
да у плеча ночная птица
бесшумно воздух рассечет
и растворится без остатка,
а взмахи весел — нечет, чет...
Зудит плечо призывно, сладко.
Веслом от берега — и прочь.
Свежее воздух, шире взмахи.
Ты лишь однажды в силах смочь
преодолеть ночные страхи.
Не окажись весла в руке
и лодки не найдя в тумане,
ты канешь в ночь, навек — никем,
и ночь укроет, не обманет...

Свободным махом перелетных облаков
летят сомнения в заоблачные дали,
и остается только свет. Ему легко
отпочковаться с поднебесной вертикали —
позволить ярче стать степному ковылю
и бросить отблески на вспаханную землю.
От цвета яблонь май подобен февралю,
но нежно тепел и по-юношески зелен.
Прозрачно море. С ночи звездной до утра,
как верный пес, волна шершаво лижет пятки.
Весна не кончилась. Еще ее пора,
и ты блаженствуешь в нейлоновой палатке.
И размышляешь: гривы легких облаков
и мысли ветреные в воздухе растают,
войдут желания в недвижность берегов —
а жизнь течет. Зачем? Неужто не узнаю?

РАЙСКИЙ САД

В речной долине сад благоухал.
Трудились птицы певчие и пчелы.
Вокруг пустыня знойная из скал,
под солнцем отливавших кумачово.
Здесь не корпел над всходами семян
поэт полей — крестьянин молчаливый.
Рос ананас и созревал банан.
Копили силы черные оливы.
Бесшумной тенью тек среди ветвей,
не замечая птичье щебетанье,
свой яд и кожу сбрасывая, змей,
допущенный к охране и всезнанию.
Служить легко, не хлопотно в саду.
Так было здесь от самого начала.
Но поселились, змею на беду,
те, от кого спокойствия не стало.
И он шипел, не в силах превозмочь
врожденного проклятого безручья,
когда не смог их выпроводить прочь,
бросавших больно ранящие сучья!
Их было двое, глупых и нагих,
никем из женщин в муках не рожденных,
и змей не знал, зачем лелеет их
хозяин кушей, выросших на склонах...
Они, смеясь, оглядывали мир,
лишенный бед, страданий и заботы.
Их сытно сад в последний раз кормил,
а змей срывал щеколду на воротах.

СМЕРТЬ

Умолкли птицы. Небо словно выше.
Звезда прожгла мерцанием простор.
Беззвучный вздох — полет летучей мыши.
Затих дневной досужий разговор.
Повсюду тени. В бликах мостовая.
Незримо шевеление листа.
Мелодия вечернего трамвая
так непередаваемо проста —
но вдруг ушла, закончилась внезапно...
Остывший воздух дрогнул невзначай:
тупым стеклом по вечности царапнул
ночной мопед, стеной и стуча,
сжимая звуки в шорохи и звоны...
...И движется, смыкается, страшна,
из каждой щели, тонкой и бездонной,
бескрайняя, сплошная тишина.
Одно лишь сердце с болью и тревогой
наружу рвется, зная наперед,
что рядом, здесь, без света и дороги
землею Смерть полночная плывет —
ее уснувшей темной половиной,
и выбирает время сладких снов.
Беспомощный, виновный ли, невинный,
и млад ли, стар — для Смерти все равно.
Застыв, стою. Она струится мимо,
касаясь мягко полами плаща.
...И до утра, до спазм, невыносимо
немее ниже левого плеча.

ДУША

В печи заслонка приоткрыта —
на чуть, на лезвие ножа,
и, словно бы из пара свита,
сквозит из щели вниз душа.
Плита на печке пышет жаром.
Огонь загадочно гудит.
Уютно к ночи в доме старом
пустыни снежной посреди.
Едва дыша, в тиши внимаю
вблизи явлению души —
она свежа, как ветер мая,
и, у огня застыв, дрожит.
Кладу краюху хлеба ближе:
«Возьми, поешь. Ведь голодна?»
И словно шепот, ясно слышу:
«Спасибо, только мне не на...»
И все — метнулась, будто пламя.
В печи как эхо — чей-то крик.
В трельяже — там, за зеркалами,
плывет и тает женский лик.
Его охватывает что-то,
несет незримое крыло
к заслонке, в черные ворота,
где льдом становится тепло.
Затишье стелется по хате.
Прохлада льется из углов.
Мне восемь лет. Мир неохватен,
а грань — оконное стекло.
Январской ночи нет предела.
Трещит и бьется жар в печи.
И дрожь заслонки то и дело —
как оклик жалобный в ночи.

Пройти ли морем, словно посуху,
оставив берег за спиной —
туда, где солнце русокосое
открыло в облаке окно,
влететь в него, сплетая пальцами
вечерний воздух пред собой,
а моря лист как будто глянцевый —
блеснет и сморщится, рябой...
Пройти ли пляжем по-над берегом,
хрустя под пятками песком,
как в старом фильме Гришка Мелехов,
тоской разбуженной влеком.
И будут видимы сражения,
что отгремев, произошли —
в неуловимом отражении
на стыке моря и земли...
Пройти ли временем загадочным,
касаясь пальцами эпох.
Вот проскакал в столицу нарочный.
Вот лепит мир в неделю Бог.
А то в уснувшем общежитии
опять обнимешь гибкий стан...
Что будем жить — предположительно.
А что умрем — все будем там.

За годы троп исхожено немало.
Людей довольно встретил на пути —
душа одних с любовью принимала,
с другими рядом брезгала идти.
Всю жизнь ищу: в селе ли, городскую ль —
вторую душу, родственную мне.
Казалось, только с нею и смогу я
себя счастливым чувствовать вполне:
войдет она в распахнутые двери,
приветив беспокойного жильца,
и я пойму, что в счастье можно верить,
и дружбу не осмелюсь отрицать.
В мельканье лиц: родных и посторонних,
ушедших и забывшихся, не тех,
ее я безнадежно проворонил —
мелькнула и исчезла в пустоте.
Она без слез, бессонно умирала
и умоляла: «Папа, защити...»
Всем тем, кому назначено так рано,
вручают нить — не сбиться на пути.
Виски — как знать? — недаром поседели:
плетущим нити нужен белый цвет.
Седею быстро: значит, я при деле:
остался сам — а словно бы и нет.

Вот и все. Безмолвна школа
в старом парке у пруда.
Столько вольного простора
не бывало никогда.
Звезды так же вниз глядели
и во время юных игр.
Время шло, менялись цели:
впереди огромный мир.
То ли солнце на рассвете,
то ли свет бессонных глаз —
это взмыл навстречу лету
мой родной десятый класс.
Шорох платьев. Смех украдкой.
В небе поздняя звезда.
Как журавлики, тетрадки
вслед уплыли навсегда.

Я обманул вас: смерти нет.
Причины нет грустить и плакать.
Там, за орбитами планет,
я уверяю — лучший свет.
Не разводите носом слякоть.
Я снова весел. Пью нектар.
Размах не выразить словами:
сегодня сею пыль Стожар,
назавтра — невесомый пар,
и выюсь из чайника над вами.
...А впрочем, лгу: на стену лезь,
но смей не вздумай торопиться:
ведь я никто, я просто взвесь —
так, пустота (попробуй, взвесь!),
всего изнанка, заграница.
...А так, конечно: смерти нет,
пока не стерлась в детях память.
Укроет прах последний след —

и все живет. А смерти — нет.
Поют скворцы. Им что — весна ведь.

В ГАЛЕРЕЕ

Ты говоришь о тени на портрете,
что хороши раскосые глаза.
Я замечаю — чист и разноцветен
был Божий мир столетие назад.
Ты так смешно глядишь на древний облик
и прядь волос невольно теребишь,
задумавшись о странности символик
в овалах глаз и розовости крыш...
А дальше — неразгаданный Куинджи,
чей холст уже невидим навсегда,
и кто-то шепчет: «Медленнее, ближе,
взгляните обязательно сюда...»
Но — ничего на выцветшей картине.
Пожухли краски старого холста.
За равномерной блеклостью и синью
неяркий свет струится от Христа.
Вдали, наверно, блеск Ершалаима,
еще не накопившего угроз.
Но все это в уме, неразлично.
Печаль вокруг, дорога и Христос.
Ты вся в раздумье. Волосы оправив,
спросить о чем-то хочешь, но молчишь.
В твоих очках в серебряной оправе
лучится отсвет розовости крыш.

Снова год окончился внезапно.
Бьют часы. Чему-то рады все.
Одурманил душу хвойный запах,
он кружит, как в парке карусель.
Сразу детство вспомнилось и речка,
три сосны согбенные над ней.
Облака пролетом в бесконечность —
словно след истаявших саней.
На лету дыханье индевело.
Иней рос, к морозу приучал.
Ели — словно мачты каравеллы,
у затона встретившей причал.
Время остановлено нарочно.
Чтоб остался в памяти закат,
нужно пережить бессветность ночи,
должен заболеть восходом взгляд.
Жить бы долго в отблесках над лесом,
чтоб закат струился и не мерк.
Чтобы время тяжестью железной
сердце не тревожило и век.

В пять утра без будильника солнце
прорвалось из-за дальних холмов.
Рыжий кочет на крыше колодца
прокричал, что он жив и здоров.
Рошу ветер погладил по кронам,
свистнул сыч в ожидании сна,
и страну покрывалом зеленым
застелила к восходу весна.
У ворот самодельную флейту
в руки взял деревенский пастух.

Под мелодию близкое лето
тополевый приветствовал пух —
он вздымался, кружился, вертелся,
и носился легко по дворам,
а совсем не имеющий веса
плыл пастух и на флейте играл.

Давид Блюм

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ — ТЕЛЬ-АВИВ

Город моей мечты, юн и прекрасен ты.
Светом весны озарены окна твои.
Там, на восьми холмах, строек твоих размах.
Счастлив, красив, миролюбив мой Тель-Авив.

*Пусть песнь моя летит —
В небе радугой горит.
Людям расскажет всем
О мечте моей.
Пусть знает шар земной,
Как живет нынче город мой.
Врагам преграда — риф,
Город мой — Тель-Авив.*

К набережной твоей льется поток людей.
Твой Дизенгоф — встречи, любовь, песен мотив.
Алленби, тень ветвей, море цветных огней.
Площадь царей — сказочный миф, мой Тель-Авив.

Яффы прекрасней нет. Ной здесь творил Ковчег.
Стены твои, башни твои брал Бонапарт.
Помнишь ты цепь времен... Помнишь, как Соломон
Строил здесь порт, любви залив, мой Тель-Авив.

ДА — ЭТО ХАЙФА!

Он стоит у моря на горе Кармель,
Стройный и красивый, как лесная ель.
Рубежи Израиля, шум морской волны.
Древний город Хайфа — главный порт страны.

Мраморны колонны, купол золотой,
Храм великой тайны вечно молодой.
Монастырь, пещеры, множество чудес,
Город нашей славы, Хайфа — наша честь.

*Да — это Хайфа, это — Хайфа!
К тебе я плыл, спешил домой.
Дом наших предков, чудо — Хайфа!
Шалом, любимый город мой!
Да — это Хайфа, это Хайфа!
Садов Бахайских водопад,
Да — это Хайфа, это — Хайфа!
Сердец еврейских звездопад.*

Персы, крестоносцы... Кто здесь не бывал?
Только щит Давида город охранял.
Дух у Хайфы прежний, вечно боевой,
Он во всех сраженьях — на передовой.

Легендарный город у израильтян,
Над причалом реют флаги разных стран.
Солнечное чудо на горе Кармель,
Хайфа — это гордость Эрец Исраэль!

НАТАНИЯ — ЛЮБОВЬ МОЯ

Когда на песок опускается вечер,
И берег ласкает прибой,
Иду я, волнуясь, мечтая о встрече,
О встрече с тобой, город мой.

Чудо — краски твои на коралловых дюнах,
И на склонах — трава, шепот ласковых вод,
Взгляд прекрасных очей, чары девушек юных,
И ночей карнавал, страсть, любви хоровод.

*Натания — море солнца в лазури,
Натания — королева — краса,
Натания — кто здесь был, тот полюбит,
Натания — любовь моя.*

Люблю я тебя — о, мой сказочный город,
Как женщину первой мечты.
Мне каждый из вас по-особому дорог,
Вы оба полны красоты.

Нежный облик луны — всем влюбленным защита.
Паруса над волной, звезд загадочный вид.
Здесь из пены морской вдруг встает Афродита,
И поет о любви легендарный Давид.

Проза

Олег Корниенко

ЖИЗНЬ ЗА СМЕРТЬ (повесть)

Годовщине вывода войск из Афганистана

1. ОБСТРЕЛ. АРТАМОНОВ И ЕГОРОВ

Командир экипажа вертолета Ми-8МТ капитан Андрей Артамонов проснулся от гулкой канонады. Сотрясались окна и стены. С самодельной полки над кроватью его летчика-штурмана Олега Егорова что-то упало.

Хлопки выстрелов были сухими и резкими. Казалось, вздрагивает даже воздух в комнате. Андрей в который раз подумал про артиллеристов из охранения: не сладко им сейчас. Он сочувствовал им еще и потому, что был летчиком, а они — артиллеристами. То, что было дозволено ему: сходить после полетов в эскадрильскую баньку или в кино, заглянуть после привоза товаров в «чекушку», посидеть в ленинской комнате у цветного телика — было проблемой для тех, кто нес постоянную круглосуточную охрану аэродрома.

Жидкий лунный свет еле пробивался через единственное, занавешенное тормозным парашютом окно. На пыльном шелке красными зайчиками скакали сполохи оружейных залпов, после чего модуль — их эскадрильское щитовое общежитие — устало подпрыгивал на месте.

Андрей попытался по времени между вспышками и звуком залпа определить расстояние до гаубиц, хотя немые вспышки, как зарницы сверкали совсем рядом, за складами обеспечения, на склоне, между военным городком и центром афганской провинции, которая раскинулась в широкой долине.

По коридору заходили. Так было всегда, когда поднимались не успевшие заснуть курящие и шли в трико и куртках, накинутах на голые плечи, выкурить последнюю сигарету, а заодно и поболтать.

Проснулся и штурман Павел Егоров. Надевая в темноте брюки, зашарил ногами по полу в поисках комнатных тапок. Вот его шаги. Полоска света от входной двери скользнула в комнату и, точно испугавшись чего-то, метнулась обратно.

Подоткнув под себя одеяло, Артамонов свернулся калачиком и закрыл глаза.

— Нас обстреливают! — крикнул испуганно кто-то.

Артамонов не двигался, слушая частые, сухие выстрелы, свистящие звуки и наперекор всему старался уснуть. Стены жилья не падали, стекла со звоном не сыпались внутрь комнаты, значит все нормально.

Он, кажется, задремал, потому что когда открыл глаза, будто снова услышал канонаду. Взяв с тумбочки

китайский фонарик, Андрей включил его. Койки ребят были пусты. Он мгновенно напялил на себя комбинезон и в комнатных тапочках выскочил на крыльцо.

Желтый свет лампочки над входом освещал пустое, в окурках и сожженных спичках, крыльцо.

Артамонов знал, где находится их взводный опорный пункт и, пригибаясь, точно осколки свистели над головой, быстро двинулся туда.

Он уже миновал коробку эскадрильского душа, который размещался перед левым крыльцом модуля, когда услышал сбоку:

— Командир, сюда!

Слева, в неглубоком окопчике, похожем на яму, сидели двое. В одном Артамонов узнал своего штурмана. Андрей примостился рядом и, обхватив колени руками, замер.

На мгновение небо над гаубицами осветилось. В него бесшумно вонзились огненные стрелы. Грянул kloкочущий гром залпа, похожий на грохот груженого то-варняка.

— «Град» заработал, — с какой-то радостью произнес Егоров, имея в виду те три гвардейских реактивных миномета, которые стояли левее складов обеспечения, направив соты стволов в сторону далеких, негостеприимных гор.

— Духи, поди, закапываются сейчас, — подал голос третий сосед по окопу.

Серебряная пыльца падала с неба в том месте, где только что пронеслись наши ракеты, а товарняк все грохотал и грохотал и вдруг смолк, точно нырнул в тоннель.

Зарницы гаубичных выстрелов вспыхивали то ближе — за складами, то левее. И это не давало Артамонову окончательно расслабиться.

— И чего зря стреляют? — Егоров запустил комок земли в стену душевой. — Так духи и ждут нас. Они пустили свои ракеты, и — дай бог ноги! Или где-то пережидают. Зря только деньги переводим...

— Здесь везде деньги, — вздохнул Артамонов. — Но меня другое интересует: сколько нужно времени, чтобы победить душманов? И чего нам здесь ждать? Мы уже шестой год воюем...

— Я лично жду дембеля, — шуткой ответил Егоров. — Честно выполнить свой долг и через пару месяцев вернуться домой живым.

— Об этом мечтают все. Мечтают больше, чем о победе Афганистана, — Артамонов уперся в колено штурмана и, не разгибаясь, пересел на край окопа. — Я о другом: какая у нас цель? В 45-м мы дошли до Берлина и взяли Рейхстаг. И войне пришел кабздец. А что нужно

сделать сейчас: захватить Кабул? Кандагар? Шинданд? Но там и так стоят наши войска, а конца этой драки что — то не видно. Слышал, чье-то выражение, что Афганистан можно пройти, но завоевать его невозможно...

Со стороны аэродрома донесся гул вертолетов. Рокот невидимых машин вклинился в черное небо.

— Пару подняли, — пошевелился, разминая ноги, Егоров, имея в виду два вертолета боевого дежурства. — Проснулись, наконец.

Со стороны капониров потянулись переживавшие там обстрел авиаторы.

— Все, что ли? — спросил он, вставая.

— Наверное, — Артамонов тоже приподнялся, прогнулся, разминая затекшую спину.

Загребели шары в курилке с единственной лампочкой над бильярдным столом.

— С ума сошли, — бросил Егоров, и легонько толкнул Артамонова. — Час ночи, а они надумали шары катать.

Небо над далекими горами вдруг озарилось, точно от праздничного салюта. Но огни эти не потухли, а замерли на месте, освещая округу. Чуть выше их рокотал вертолет боевого дежурства.

— САБ (*светящаяся авиабомба*) бросил, — объявил Артамонов.

Огни, не спеша, качаясь, скользили вниз по тонким веревочкам дыма.

— Я только уснул, вдруг что-то как бахнет в окно и мне на голову точно ведро щебенки высыпали. Витя Кирпичников, командир экипажа, коллега Артамонова по звену, выкатил глаза, изображая удивление.

— Включил свет: в окне дырка — во! А подушка вся в битом стекле.

— Осколок, наверное, — высказал догадку Артамонов.

— Черт его знает, — пожал плечами Витя. — Смотрел и на кровати и под кроватью — нигде ничего. Пойти поглядеть под окном, что ли?.. Кто со мной?

Никто не вызвался составить компанию.

Андрей посмотрел в спину удаляющемуся Кирпичникову, потом на небо. Бомбы, качаясь на парашютах, вот — вот должны были скрыться за крышей столовой для технического состава. Качались они сильнее обычного, видно уже догорали.

А стрельба на охранении тем временем не прекращалась.

Артамонов посмотрел на часы. Было два, в шесть — подъем, спать — совсем ничего осталось.

Тумбочка дневального в коридоре торчала одиноко, как пенек на лесной тропинке.

— Дневальный! — позвал Артамонов. Из-за угла, точно поджидая летчика, вышел солдат. Был он, как и положено в ночное время, в бронежилете, каске, с автоматом.

— Где твое место? — спросил Артамонов.

— На тумбочке.

Под пристальным взглядом офицера солдат, точно делая одолжение, встал возле тумбочки и стрельнул в Артамонова недовольным взглядом.

— Заблудись еще, потом ищи тебя, — бросил летчик, шагая по коридору.

Включив свет на кухне, Андрей заглянул в спальню.

Все кровати, кроме борттехника Лесняка, были заняты. Вспомнил его, голого по пояс, с кием в руке, деловито кружащего вокруг бильярдного стола и делающего удивительные промахи, подумал: где же ему еще учиться играть, как не здесь...

Кровать давно остыла, и, чтоб быстрее согреться и уснуть, Артамонов накрылся одеялом с головой. Лежал и думал о том, что пережил еще одно испытание. Сегодня их обстреляли «духи». И главное, они никого не потеряли. Хотя кто его знает. Утром все будет известно...

Что-то мучило его, точно кто-то трогал незаживающую рану.

«Пролетел с операцией!» — подсказала память и нарисовала вечернюю картинку.

...Артамонов возвращался из столовой с половинкой хлеба. Ужинать решили дома. Полутемный коридор модуля не спеша заполняли сослуживцы. Самые нетерпеливые из собравшихся в кино настойчиво бухали в закрытые двери комнат:

— Выходи на вечернюю поверку!

Опершись о край бильярдного стола, стоял начальник штаба капитан Гончаров.

Разговаривая в строю, и тем самым мешая начштаба, проверились. Потом начштаба зачитал приказ, в котором от них на операцию требовалось четыре борта.

— Изъявили желание участвовать двенадцать человек, — сказал начштаба и, оглядев строй, стал зачитывать фамилии.

«Сейчас я», — сказал себе Артамонов, вытянув шею и прислушиваясь. Вскоре, действительно, зачитали и его, но в другом списке:

— Поисково-спасательное обеспечение... Буду без званий: Артамонов, Егоров, Лесняк — борт 35. Кирпичников, Симикян, Ващенко — 40-й...

— Вопросы есть? — поднял голову Гончаров, закончив читать и не дождавшись ответа, захлопнул папку, посмотрел на замполита эскадрильи Коломийца: у тебя будет что?

Тот, глядя себе под ноги, отрицательно покачал головой.

— Все свободны!

Артамонова захлестнула волна обиды. Опять его нет в списках на боевую операцию. Опять целую неделю боевое дежурство.

Начальника штаба он отыскал на крыльце.

— Ну, ты что, Николаич? Я же тебя когда еще просил?.. — они были почти одного возраста, и это давало право обращаться на ты.

— Ты о чем?.. А! — Гончаров стукнул себя по лбу и тут же спокойно, взяв Артамонова за локоть, объяснил:

— Ты думаешь, я отбирал? Мне дали список — я зачитал. Так что не дуйся. Придет бумага — хоть завтра всех домой оформлю, не то, что на операцию.

Стоящий рядом Кирпичников, привлекая к себе внимание, щелкал привезенной из дукана японской зажигалкой.

— Какая разница, где замену ждать, — сказал он.

Артамонову было наплевать на его слова и зажигалку.

— Кто же тогда переиграл список? — остывая, поинтересовался он.

— Командир.

Глухо, точно из бочки, звучали со стороны клуба го-

лоса киногороев.

«Наташа, наверное, там, караулит его, — подумал Артамонов. — Неужели она не поймет, что между ними все?.. Слишком поздно они встретились... Семейно он не бросит, а вести двойную игру выше его сил».

Артамонов удивился, с какой легкостью он сейчас отказывался от Наташи. Еще недавно, когда Егоров вдруг открыл ему глаза на девушку, он готов был все отдать за один ее поцелуй, все бросить к ее ногам, чтобы добиться своего. А когда все осталось позади, когда стал знаком каждый изгиб ее тела, каждая родинка, когда ореол над кудрями Наташи растворился, его стали раздражать ее кажущиеся пустыми речи, и напускная капризность, и многое другое. То, чего до этого он не видел по причине любовной слепоты или на что умышленно закрывал глаза...

Артамонов вздохнул, вернулся в модуль.

— Комэск проходил? — спросил он у дневального. Тот пожал плечами, поправил ремень автомата.

— Андрей, ты где ходишь? — на пороге комнаты стоял Егоров. — Мы уже садимся ужинать.

— Сейчас иду, — махнул он рукой. Комната командира эскадрильи находилась в самом конце коридора. Жил он вдвоем с замполитом.

Артамонов подошел к двери и, оглянувшись, постучал. За дверью никто не отзывался. Андрей толкнул дверь. В прихожей, перегородженной в пользу кухни одежным шкафом, никого не было. Артамонов пропустил дверь замполита и постучал в соседнюю.

— Кто там? Командира нет, — донеслось из — за первой полуоткрытой двери.

Увидев Артамонова, замполит, круглолицый, с глубоко посаженными глазами майор, которому недавно, по слухам, послали представление на Героя Советского Союза, отложил летнюю книжку, которую заполнял, и рывком сел поудобнее на койку.

Артамонов спросил: где командир.

— В штабе на постановке задачи, — майор устало потер глаза. — А ты чего хотел?

Артамонов неохотно пересказал огорчивший его эпизод.

— У тебя когда замена? — спросил замполит.

— Через два месяца.

— Неужели не налетался?.. На орден тебе послали, значит, долг свой ты выполнил честно. Есть идея — командир не против — рекомендовать тебя на должность старшего летчика. Ваш-то болеет. Желтуха — дело серьезное: месяц здесь проваляется, потом месяц реабилитации в Союзе, а там и замена. А командиру звена кто-то должен помогать?

— Кирпичников, — бросил Артамонов.

— Кто тебе такое сказал? — замполит поднял на собеседника усталые глаза. — Я лично об этом впервые слышу. Так что успокойся и дай молодежи проверить себя в деле. И потом, — замполит поднялся и положил руку на колено Артамонова, — списки на операцию предварительные. Точных сроков ее проведения никто не знает. Так что не расстраивайся. Если к тому времени не сменишься — я тебя сам внесу в списки. Договорились?

Артамонов благодарно улыбнулся.

2. РОНАЛЬД МЭРФИ, АДАМ-ХАН

Протяжный, заунывный голос прорезал тишину. Рональд Мэрфи открыл глаза. В палатке было темно. Чего это они с утра развылились?

Откинув полог, вылез наружу. В лицо ударило низкое утреннее солнце, и Рональд прищурился. За время пребывания на Востоке он уже успел порядком загореть, отрастить усы и бороду, и теперь смуглое лицо его под надвинутой на брови полосатой чалмой мало чем отличалось от лиц афганцев — лишь серые холодные глаза по-прежнему выдавали в нем европейца.

Мэрфи посмотрел в сторону реки. Недалеко от берега, два десятка моджахедов, стоя на коленях на молитвенных ковриках, совершали утренний намаз. Они прижимались лбом к земле и обнимали ее руками, а потом распрямлялись, обращая раскрытые ладони к небу. В их мерном раскачивании, невнятном бормотании ощущался завораживающий гипнотический ритм.

Мэрфи усмехнулся и встряхнул головой. Религиозные предрассудки — будь-то католицизм, буддизм или магометанство — были ему чужды.

Он спустился к реке. Умывшись, почувствовал облегчение. Да, неплохо... Все пока идет неплохо...

Когда он доставал платок, из кармана безрукавки, сверкнув на солнце гранью, упал в реку серебряный доллар. Присев на корточки, Мэрфи посмотрел сквозь прозрачную воду. Орел на монете показался особенно выпуклым и привлекательным.

«Нет, пожалуй, — подумал Мэрфи, — бог, видно, все же есть. И, черт побери, если тот бог не похож на эту чеканную с гордой головой и распростертыми крыльями птицу».

Мэрфи достал монету из воды. Доллар был своего рода талисманом, с которым Мэрфи никогда не расставался. Он считал — и на то были свои веские основания, — что эта монета приносит ему удачу.

Он без труда отыскал глазами среди молящихся Адам — хана. Тот был впереди всех на богатом коврике. В отличие от одеяния других «воинов ислама», его одежда была изысканнее.

Адам-хан в последний раз обратил лицо кверху. Глаза его смотрели на небо равнодушно, и в них даже самый тонкий психолог не смог бы обнаружить религиозного экстаза.

Из досье осведомителя ЦРУ США, регистрационный номер 200961:

«Родился в 1948 году в семье вождя пуштунов — кочевников. Во время обучения в Париже, и в Нью-Йорке имел связи с группами марксистски настроенных студентов из стран Востока... Неоднократно встречался с Бабраком Кармалем, Хафизуллой Амином, впоследствии членами ЦК НДПА... Как выходец из племенной знати пользуется значительным влиянием среди пуштунов...»

Адам-хан поднялся, моджахеды последовали примеру своего главаря.

Адам-хан, заметив Мэрфи, прогуливающегося у реки, сделал знак рукой. Мэрфи кивнул и направился к палатке Адам — хана. В ней на небольшом столике был накрыт завтрак на двух человек.

Адам-хан, присев на атласную подушку у сундука из оцинкованного железа, включил японскую стереомагнитоу. Едва слышно зазвучала любимая афганская песня. Открыв баночку кока — колы, Адам-хан отпил глоток и выжидающе посмотрел на вход.

Откинулся полог, пригигбаясь, вошел Мэрфи.

— Хелло, Махраб! — бросил он.

— Хелло, Рон... — Адам-хан пристально рассматривал Мэрфи. — Как спалось?

Ступая пыльными армейскими башмаками по толстому ковру, Мэрфи прошел вглубь палатки и опустился по другую сторону столика.

— Неважно, — он взял со столика другую баночку кока — колы и привычным жестом открыл ее. — Как подумаю, сколько здесь ползает всякой нечисти: скорпионы, фаланги...

Бр-р-р!

— Это тебе не Париж.

— И даже не Калифорния. — Мэрфи насупился, точно и впрямь рассчитывал увидеть в этих местах нечто иное. — Что это у тебя? — он ткнул в тарелку с мелко порезанным мясом. — Надеюсь, не жареные скорпионы?

— Нет, баранина, — сказал Адам-хан и, подхватив куском ржаной лепешки ломтик, отправил его в рот. — Не сомневайся. Хотя... — Он исподлобья глянул на Мэрфи, тоже принявшегося за еду... — Мне кажется, при твоей профессии не стоит быть слишком

привередливым.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Мэрфи, пробуя мясо.

— То, что «перелетные гуси» обычно всеядны.

— А, вон ты о чем. — пожевав, Мэрфи отхлебнул кока-колы, и, подумав, произнес:

— С этим покончено. Рональд Мэрфи — добропорядочный семьянин и преуспевающий бизнесмен. — И он улыбнулся:

— Похож?

— Что — то есть...

— Слушай, Махраб... — Мэрфи допил кока-колу и прикурил сигарету. — удовлетвори мое любопытство, Махраб: скажи, сколько у тебя жен? Джужина? Две? Держу пари, ты и сам, верно, сбился со счета.

— Считай, что ты проиграл, Рон. Их ровно джужина... — Адам-хан прищурился, точно считая в уме. — А, может, и две...

Громкий хохот донесся до ушей телохранителей, но их лица остались бесстрастны.

Слышал его и Саид Фатах, сидевший неподалеку. Заканчивая чистку снайперской винтовки, он аккуратно протер оптику кусочком замши. Он должен первым заметить врага. От этого зависит успех поединка. Один раз он уже подпустил его близко и жестоко за это заплатил. Точнее даже не он, но...

Им с отцом оставалось совсем немного, чтобы закупить новый товар и тем переманить покупателей в свой дукан. Будь под боком брат, дело пошло бы живее, но тот учился в Кабуле, посещал революционный кружок и, что немаловажно, отказался от своей части наследства в пользу младшего брата Саида. И все бы ничего, если бы не сосед... Их дуканы находились в одном ряду, товары тоже мало чем отличались: сигареты, хозяйственное мыло, жевательная резинка, напитки...

— Зачем по одной афгани копить, если можно сра-

зу миллион заработать, — загадочно обронил сосед однажды и тусклые глаза отца Саида загорелись живым блеском. Сосед приволок завернутую в кусок рогожины круглую, похожую на чайник, мину. Показал, как

пользоваться... Но все вышло иначе. Вместо железной души танка шурави, к аллаху улетела душа отца, а, вернувшись с поля домой, Саид с женой и матерью обнаружили, что все в доме перевернуто вверх дном, а тайник с денежными накоплениями пуст.

Верные люди, конечно, не за сотню афгани, подсказали где искать соседа: отряд Адам — хана.

Впервые Саид не заправил конец чалмы — символ данного обета отомстить за отца, — и отправился в отряд Адам — хана. Но сосед был уже в Пакистане. И Саиду оставалось одно: вместе с отрядом, выполнив задание, вернуться в Пешавар и, отыскав «советчика», расквитаться за все.

Саид прижался щекой к прикладу, точно собираясь выстрелить в небо. Лицо Саида было спокойным и красивым: четкий профиль, прямые, тонкие брови...

В перекрестье прицела попал парящий в небе коршун, потом изображение птицы смазлось — прицел заскользил вниз и, минуя белоснежный пик горы, каменный склон, деревья у реки, остановился на шатре Адам — хана.

А там продолжался «светский» разговор о женах.

— О, кей, Махраб, — сказал Мэрфи, с наслаждением вдыхая дым. — Я думаю, ты мне покажешь когда-нибудь своих красоток. Или шариат запрещает это?

— Нет таких законов на земле и небе, которые сильнее нашей дружбы, — высокопарно изрек Адам-хан. — Но, дорогой, они в Пешаваре... — лицо его снова приобрело мечтательное выражение. — Я думаю, что скоро мы вернемся туда.

— На Кабул ты уже не рассчитываешь?

— На все воля Аллаха!

Адам-хан замолчал, потягивая трубку. Сладкий дурманящий дым заполнил палатку...

— Ваше дело стоящее и я думаю, ты еще доберешься до Кабула, — сказал Мэрфи.

— Я тоже так думал до последнего времени. Но фокус с примирением спутал все наши карты. — Адам-хан покосился на вход в палатку, точно опасаясь, что кто-нибудь из телохранителей может знать английский. Лицо его налилось кровью. — Шайтан! Если б у меня вместо этих трусливых шакалов были такие ребята, как ты, Рон, мы бы давно уже были в Кабуле. А эти... Вчера мои люди обстреляли ракетами гарнизон шурави в Кундузе, а я до сих пор не знаю результатов операции: каждый врет так, точно он весь гарнизон с землей сравнил... Шакалы! Ослы! Половина уже разбежалась и оставшиеся уйдут, заплати им Наджиб на десять афгани больше, чем я... Проклятье! — Адам-хан в сердцах стукнул кулаком по колену. — Мне бы сотню настоящих воинов ислама...

Мэрфи выразительно, точно считал банкноты, потер пальцами:

— После Анголы «серые гуси» сильно поднялись в цене.

— А-а... — Адам-хан раздраженно махнул рукой. — Не в этом дело. Мы не так бедны, как ты думаешь. У нас есть товар, за который можно получить любую валюту...

— Ваши горы? — Мэрфи, до этого рассматривавший инкрустацию на столике, насмешливо покосился

на Адам-хана.

— Да, наши горы. Наши горы, на которых растет мак. К которому, кстати, имеют отношение и ваши люди.

— Да? — Мэрфи сделал удивленное лицо. — Откуда у тебя такие сведения? Лично я про это ни разу не слышал.

— Не прикидывайся простаком. И не делай из меня болвана...

— Ладно, ладно, — подчеркнуто миролюбиво сказал Мэрфи. — Я пошутил. Я думаю, что вы в любом случае не в накладе. Неясно только, почему, имея такие деньги, вы воюете таким дерьмом. — Мэрфи кивнул на «базу» возле сундука.

— Во всем виноваты ваши политики. Было бы лучше, если бы они поменьше говорили и не мешали тем, кто хочет нам помочь. А когда ходишь с протянутой рукой, сплавляют всякую дрянь, типа этой вонючки...

Мэрфи не заметил, как в руке Адам — хана появилась необычного вида граната.

Он взял ее — сбоку на серебристом металле виднелась четкая надпись: «Изготовлено в федеральной лаборатории в Солсбери. Штат Пенсильвания. США. 1978».

— А что, неплохая штучка, — сказал Мэрфи и, покачивая гранату на ладони, осторожно положил ее на стол.

— Где-нибудь в Алабаме, но не здесь в горах. Нам нужно настоящее оружие, а не эти хлопушки. Ваш президент уже всему миру прожужжал уши про «Стингеры». А где они?

У Мэрфи невольно екнуло внутри. Разговор сам пришел в нужное русло.

— Президент — деловой человек, он слов зря на ветер не бросает.

Адам-хан пристально посмотрел на Мэрфи.

— Да, да. Теперь ты понял, что сюда я приехал не горами любоваться? Наша фирма может предложить зенитные комплексы с дальностью поражения до пяти тысяч метров.

— Да? — Адам-хан почуял неладное. Сделки по поставкам оружия решались в Пешаваре и было странно, что Мэрфи понадобилось переходить для этого границу.

Адам-хан слышал, что Мэрфи связан с ЦРУ, но им никогда не приходилось работать вместе. К тому же вчера Мэрфи упорно твердил, что является лишь представителем частной фирмы, имеющей определенные экономические интересы в Афганистане.

— Даже так? — Адам-хан, нахмурившись, смотрел на Мэрфи. — Надеюсь, эта штукавина стоит меньше миллиона?

— О, сущие пустяки — всего восемьдесят тысяч баксов.

— Ладно, Рон, — Адам — хану надоело играть в прятки. — Говори прямо, что тебе надо.

— Не сердись... Но я действительно могу тебе предложить пару отличных машин с комплектом ракет, которого хватит, чтобы свалить до десятка вертолетов шурави.

— Да? — Адам — хан прищурился. — И сколько это будет стоить?

— Бесплатно! По-моему это превосходные условия.

— Мэрфи выжидающе смотрел на Адам — хана. Тот усмехнулся.

— И что мы должны с ними сделать?

— Ну, разумеется, использовать по назначению. Чертовски обидно, когда такие дорогие штучки лежат без дела. Там, за горами, — Мэрфи махнул в сторону Пакистана, — ваши ребята уже осваивают «жалящее насекомое»...

— Это что еще за насекомое? — заинтересованно перебил его главарь. — Рон, давай без загадок...

Американец довольно заржал.

— А я и говорю без загадок. «Stinger» переводится как «жалящее насекомое». Или ты уже забыл английский? И ребята некоего «инженера Гафара» на аэродроме в Джелалабаде уже убедились: насекомые жалят шурави конкретно. Но до Пешавара далеко, а у тебя, надеюсь, найдется один — два толковых человека, которых я бы смог за пару дней обучить, как обращаться с машинками.

Четки в руках Адам-хана застыли.

— Пятьдесят...

— Что «пятьдесят»?

— Пятьдесят тысяч долларов.

Мэрфи непонимающе посмотрел на Адам — хана:

— О чем ты?

Адам-хан в упор посмотрел на Мэрфи.

— Повторяю: не делай из меня болвана. Бесплатно ничего не бывает, за все надо платить. Пятьдесят тысяч долларов нам за каждый сбитый из ваших игрушек вертолет...

В глазах Мэрфи застыло недоумение, когда Адам-хан сказал это. Некоторое время оба молчали, потом Мэрфи зло спросил:

— Не валяй дурака!.. Мы помогаем, и мы же платим? Чушь!

— Именно так! — твердо сказал Адам-хан.

3. ДЕЖУРНЫЙ ЭКИПАЖ

— Кто со мной курить? — Кирпичников положил на кровать рыболовецкую сеть, которую вязал, и потянулся, разминая затекшую спину.

— Без меня, — сказал Артамонов, положив книгу на живот, тоже потянулся. Ни в семье, ни тем более в роду у них никто не курил. Сто граммов на праздник — еще куда ни шло, а чтоб взять сигарету в рот...

— Ну — ну, — Кирпичников, разминая сигарету, направился к двери. — Кто не курит и не пьет, тот в Союз не попадет.

Проводив его взглядом, Артамонов заложил руки за голову, уставился в потолок, окрашенный белой водоэмульсионкой.

В углу комнаты боевого дежурства завозился Егоров, вздохнув, перевернулся на

другой бок. Второй день спит, как суслик. Холостяку в Афганистане вдвойне тяжелее. Егоров чихал на запрещение начальника штаба полка посещать «кошкин дом», как называли женский модуль, после того как там кто-то посадил фингал «особисту».

— А Лесняк где? — хриплым от сна голосом спросил Егоров.

— На борт отпустил. Регулировать что-то собрался.

— Нашел время... Разберет так, что не взлетим, — пошутил Егоров.

— Взлетим, — спокойно заметил Артамонов. — Человек не привык сидеть без дела. Не то, что некоторые...

— Командир, не понял... — Егоров дернулся в кровати, собираясь оправдаться и успокоить командира, что он тоже о бортехнике хорошего мнения, но, подумав, промолчал.

Посмотрев на часы, Артамонов взял книгу, которую читал и, запомнив страницу, положил на тумбочку. Затем достал из кармана последние письма от жены. Вчера «почтовик» Ан-26 прилетел поздно, но писем Андрею все равно не было. В таких случаях он перечитывал старые — полностью или те места, которые он выделил на полях птичкой. Тогда, при первом чтении, эти строки заставили его сердце сжаться.

Здравствуй, дорогой наш папулечка!

Получили ответ от тебя на первое наше письмо. Были очень рады. Настя — рисунку пчелки, а я — ответу на свой вопрос. Настенька сейчас донимает меня: «Пиши домик, пиши киску, Бабу-Ягу!»

Андрей оторвался от письма. Он помнил вопрос жены: я беременна, что будем делать с ребенком? Ты в Афганистане, и все может случиться, я тогда двоих не вытяну...

Его ответ был простой: рожать, раз господь послал нам ребенка. Ответ, который давал надежду во всем: что все будет хорошо, и он вернется живым, и что их тогда будет четверо.

Ты знаешь, Настюша стала у меня большой помощницей: в магазин ходим вместе, дома посуду моет сама, я только полощу, у бабушки даже полы мыла, так она потом всем ходила и рассказывала: «Какая у меня помощница растет!»

Мы вчера ходили в магазин и звонили оттуда маме (домой телефон я никак не куплю, все дорогие). Мы их слышали, а они нас нет. Вот такая сейчас связь. Так и не дозвонились!

Я пишу, а Настенька все время сбивает меня с мысли. Я дала ей полистать книгу «Волшебные сказки Шарля Перро». Сказку «Красная Шапочка» она уже рассказывает своими словами. Даже автора знает. Я спрашиваю: «Кто написал сказку?» Она говорит: «Шай Пейе».

Ты спрашивал как у меня с деньгами. Сто рублей еще есть, не считая Настинных -пособия на ребенка. Постараюсь устроиться на работу. Договорилась в ясли — сад няней. Собираю и сдаю анализы, на этой неделе, во вторник, пойду к гинекологу. Поговаривают, что на следующий год не 35 рублей будут платить на ребенка, а 50. Но, это слухи пока.

Сейчас собираемся с Настенькой гулять, бросим письмо в почтовый ящик. Она уже одевается.

Не скучай, пиши нам, не забывай. Извини, что письмо короткое, да разве с этой хабалкой напишешь. Целуем тебя крепко, родной наш!

До свидания! Твои Галя и Настенька.

Внизу листка, прямо на тексте, была обведена левая ладошка Насти.

Артамонов не удержался и поцеловал ладошку.

Другое письмо — на двойном листке из тетради в клеточку — пришло несколько месяцев спустя:

Андрей, здравствуй!

Сейчас вечер, скоро 10 часов. Что мы сегодня делали? После завтрака мы ходили по магазинам. Зашли в «Ткани», и я присмотрела материю на шторы в спальню. После обеда съездила за ней, пока Настя спала. Затем прошли вдвоем на базар, купили 1 кг груш за 4 руб. и большой гранат за 2 руб. на двоих, а вернее — на троих (и на Андрюшку тоже). Уставшие вернулись домой, Настя пообедала и — спать, а я — опять в город. Приехала, она еще спала.

Настюшку часто прошу одну поиграть, дела ведь нужно делать, а теперь вот села письмо писать. Ходит ребенок, скучает. Я ей на ночь книжки читаю (самое лучшее для нее), иногда сяду поиграть с ней в кубики, тогда она на седьмом небе от счастья. Что же будет, когда Андрюшка появится? А этот голопузик дает о себе знать все больше и настоячивее. Шевеление при первой беременности в 4,5 месяца, а при второй — может (говорят) произойти раньше. Так вот, у меня раньше, в 4 месяца. Мне все кажется, что ты не веришь в то, что я беременна, трудно поверить в слова, если не видишь глазами.

Я сама до конца не могу себе представить. Что-то стучит в животе, упирается. Когда ляжешь на спину, живот начинает ходуним ходить. Видно, активный будет ребенок, если уже сейчас (живота еще не видно), так агрессивно настроен против меня. Боюсь ложиться даже на бок, иногда, если лягу в пол-оборота, так в боку кто-то изнутри мне стучит: «Осторожней!»

Через месяц будет уже небольшой животик у меня. Да и сейчас он уже не в нормальном состоянии. Пора подумать про одежду для себя, а скоро и для малыша. Многое сходит от Насти. Нужно будет подкупить пеленок простых (у Насти почти все теплые, т.к., в холодное время родилась) и ползунков (Настюшины все страшные и поизносились); шапочки все целые, распашонки есть. Марли купить еще на подгузники — и можно рожать.

Надо подумать, где будет спать Настюша, кровать ведь будет занята ребенком.

Всего доброго! До свидания!

Галя.

Андрей сложил письмо, думая о прочитанном. На душе было легко, точно он побывал дома и остался незамеченным. Но что-то тяготило его. Радость от хорошего письма перевешивало какое-то неприятное воспоминание, которое казалось бы забылось, улеглось. А теперь просилось наружу и от одного этого ничем не омраченный день не хотел казаться гармоничным. Артамонов сосредоточился и попытался отыскать причину своего беспокойства. И она, точно щепка, всплыла на поверхность, словно ждала своей минуты: Наташа!

4. НАТАША

...Они познакомились на День Советской Армии. Торжественного собрания, ни накануне — двадцать второго, как это обычно в Союзе, ни на завтра, не было. Но праздничный ужин, придерживаясь старой традиции, решили не отменять.

За столом были только свои: он, Пашка и Лесняк. Правда, в самый разгар ужина, когда врубили «Шарп» бортехника и перешли к «культурной программе» — танцам, заглянул, будто бы случайно, Кирпичников. Он всегда появлялся случайно, но всегда вовремя. Понадо-

билась соль. Многие уже знали, что Кирпич экономит на всем, старательно складывая в кучку получаемые на зарплату чеки.

Чтоб Кирпичников не захлебнулся слюной от вида импортных разносолов, пришлось плеснуть ему в «нурсик» (*пластмассовый предохранительный стакан для операции неуправляемого реактивного снаряда*) разведенного спирта и, конечно, угостить салом. Земляк Лесняк из командировки в Союз привез.

Пропал и опять появился за столом возбужденный Егоров, доложил, потирая ладони, новость: в летной столовой тоже танцы. Присутствует слабый пол...

Опрокинули на пососок по «нурсику» и на улицу. Звезды на небе после выпитого подпрыгивали на месте в такт музыке, точно непоседливые дети.

Столовую не узнали. Все столы — у окна раздачи, по периметру зала — табуретки и стулья, все занято. Среди пятнистых и песочного цвета комбинезонов пестрели нарядные женские платья.

Егоров затащил Артамонова в жидкую толпу танцующих, тот немного поплясал, но полковой ансамбль больше огорчал своей игрой, чем разжигал, и он, как и Лесняк, подпер стенку, оббитую обожженной планкой.

Артамонов даже не заметил, когда перед ним возникла девушка в голубом махровом платье, подчеркивающем стройную фигуру. У нее были короткие волнистые волосы, тень морщинок под грустными, не смотря на веселье, глазами.

— Простите, — обратилась девушка, робея. — Вас, кажется, Андреем зовут?

— Да, — удивленно ответил Артамонов. За время, проведенное в Афганистане, его еще никто так не удивлял.

— Вы родом из села Раговка, — продолжала добивать его девушка, с восторгом наблюдая за реакцией летчика.

Артамонов оттолкнулся от стены и удивленно посмотрел на скушающего Лесняка.

— Я валяюсь...

Лесняк деликатно улыбаясь, перебрался на другое место.

— Вы, конечно, меня не узнаете? Мы с вами вместе в десятый ходили, только в параллельные классы: вы в 10 «а», я в «б».

Андрей помнил этот класс — он находился слева, но не мог вспомнить девушку, хоть чем-то похожую на эту еще и сегодня прекрасную женщину. В том классе училась Майя, девушка — еврейка, с которой он дружил. Вспомнилось ее бледное веснушчатое лицо, задумчивые глаза и высокая грудь. Приезжая из села в райцентр на свидание, он всегда заставлял Майю с учебником английского языка. Английский преподавал ее отец, и Майя владела языком свободно. И даже проводила уроки в их классе вместо отца. Скорее всего, она тоже собиралась стать педагогом.

Майя не была красавицей, как ее подруга Люда — среднего роста, крепко сложенная, с короткими волосами и слегка вздернутым носиком. Сейчас, спустя годы, Андрей не мог понять: почему он бежал за вечно занятой Майей? Надеялся со временем подружиться с Людой? Одноклассники постоянно дразнили их «жених и невеста», а он за два года учебы даже не поцеловал ее...

Афганистан — особые условия. Здесь земляками считались не то что из одного города или села, а даже из соседней области или республики. А тут в одной школе учились!

— А вы где здесь работаете? — Артамонов справился с волнением.

— В медсанбате медсестрой.

Артамонов удивился: медсанбат находился по ту сторону взлетной полосы. Девушка поспешила объяснить:

— Подруга в гости пригласила. На пересылке в Ташкенте познакомились. Она к вам попала, а я в дивизию.

Помолчали, глядя на танцующих. Все было так неожиданно, что Андрей даже не сообразил пригласить девушку на танец. Вместо этого, сохраняя внешнее спокойствие, он все еще пытался узнать девушку. Но...

Пригласив Андрея в гости, девушка поспешила к своей компании, где уже мелькала кудрявая голова Егорова. Рядом крутился Кирпичников.

Артамонов, после ухода девушки, ругал себя последними словами. Боевой летчик! 514 боевых вылетов! Без пяти минут орденосец! А тут — перед землячкой растерялся...

Рядом возник сияющий Егоров, по — дружески толкнул в плечо:

— Тебя, командир, хоть не оставляй одного... Сразу женщины вокруг.

— Ладно трепаться, — потер плечо Артамонов. — Сам, поди, уже закадрил кого-нибудь?

Егоров оглянулся на покинутую компанию:

— Подругу твоей землячки, — оказывается, он уже все знал.

Мелькая среди танцующих голубым платьем, девушка — землячка изредка бросала взгляд в его сторону и заразительно смеялась, собрав лучики морщинок. Там, наверное, было весело.

— Пора на abordаж! — догадавшись о настроении Артамонова, подал идею Егоров.

— Там, вроде бы, все по парам.

— Это все вилами по воде писано. Кирпича я беру на себя.

Снова, фальшивя, заиграл ансамбль, и Егоров подтолкнул Артамонова к танцующим. Те, особенно мужчины, неохотно потеснились, увеличивая круг. На втором танце Егоров тайком пригрозил кулаком Артамонову: не спи!

Артамонов пригласил девушку на танец.

— Полчаса знакомы, а я даже не знаю, как вас звать..

— Наташа.

— Андрей.

Домой шли впятером, Наташа оставалась ночевать у подруги. Возвращаться ночью через «взлетку», пусть даже с провожатым, было небезопасно. В восемь вечера выставляли караул. Часовые, в основном, ребята с юга, патроны — боевые, так что...

Девушки шли посредине, Егоров, Артамонов и Кирпичников — по бокам.

Плохо освещенная аллея казалась подземным переходом. Над головами, рискуя зацепить крыльями, носились летучие мыши.

Разговаривая, дошли до женского модуля. Раньше «кошкин дом» находился в центре городка, но кому-то из начальства, видимо, не хотелось быть в центре вни-

мания и общагу перенесли за продуктовый склад, отдав прежнее жилье техникам из ТЭЧ (*технико-эксплуатационная часть*).

Прощались скромно. Егоров все время рвался в гости «на чай», Кирпичников вторил ему, от волнения потирая свой орлиный нос, но девушки были непреклонны. Особенно Наташа. И авиаторы ушли не солоно хлебавши, связывая все надежды со «следующим разом».

Медсанбат вертолетчики обычно посещали в трех случаях: при диагнозе (желтуха, малярия и т.д.), перед командировкой в Союз, когда надо было поставить отметку на тиф, и — по личному плану. Артамонов работал по третьему варианту.

Был нелетный день — задул «афганец», подняв в воздух мириады легких песчинок, — и командир звена попросил Артамонова проведать Горшкова, их старшего летчика, лежавшего гепатитном отделении. Артамонов, вспомнив про Наташу, с удовольствием согласился.

Отдав больному свежие письма и гостинец от ребят, поведав последние новости, Артамонов только на улице вспомнил, что забыл спросить про Наташу. А вдруг он знает такую медсестру. Из суеверия решил не возвращаться.

Солдаты в курилке, в синих больничных куртках, подшитых белыми подворотничками, показали летчику где находится терапевтическое отделение.

Артамонов шел полутемным, прохладным коридором, пропахшим лекарствами и карболкой, читал таблички на дверях и чувствовал на себе неприятный, сопернический взгляд дивизионных офицеров.

Авиатора здесь узнавали за версту по комбинезону или по темно-синей, в зимнее время, куртке — демисезонке. Офицеры дивизии, страдая, как и все, от жары, тем не менее и здесь, вдали от Родины, были верны себе. Видимо, проверяя себя на выносливость, они ходили в дурацкой, со множеством широких, накладных карманов полевой форме для ДРА и в офицерских ботинках, которые по сравнению с кроссовками и техническими тапочками «в дырочку» вертолетчиков, выглядели современным оружием пыток.

Артамонов постучал в дверь с табличкой «Зав. терапевтическим отделением». Спрашивать Наташу, фамилию которой он к тому же еще и не знал, не пришлось. Наташа сидела перед ним.

Белоснежный халат, нога на ногу, рука с зажженной сигаретой замерла над

пепельницей. Дым от сигареты тянулся к немолодой, полной женщине с фонендоскопом на смуглой шее. Наверное, заводделением.

Завотделением невозмутимо положила сигарету на край пепельницы и подняла глаза:

— Я слушаю вас.

— Это ко мне, Юлия Павловна, — вскочила с места сияющая Наташа. — Вы разрешите, я выйду на секундочку?

За дверью Наташа, глянув на часы, предложила свой план: сейчас она отпрашивается — скоро обед — и они идут к ней.

По сравнению с их комнатой, жилье Наташи представлялось настоящим

раем: занавески, коврики, правее окна серебристая решетка кондиционера. Посредине комнаты что-то вро-

де паласа. Везде уют и чистота

Артамонов растерянно посмотрел на свои пыльные кроссовки.

— Оказывается и здесь раньше вертолетчики жили, — кивнул он на парашют под потолком.

— Нет. Это нам в наследство досталось, — просто-душно ответила Наташа, торопливо срывая с натянутой веревки и пряча под подушку высохшее белье.

Жужжал кондиционер, на кухне шумел, закипая, чайник. Наташа только с третьего раза включила побывавший, видно не одних руках, советский «кассетник». Комнату наполнило ржание «рыжего коня» и хриловатый голос Михаила Боярского. От знакомой мелодии стало уютнее.

Андрей музыку любил и считал, что понимает.

Наташа пригласила Артамонова к столу.

— Я вообще-то уже обедал, — отказался Андрей, наблюдая, как Наташа неумело пытается открыть консервы. — Разрешите...те?

— Ну, тогда хотя бы чайку...

— Разве что... — Андрей поставил открытую банку перед девушкой, сел на солдатскую табуретку. — А подруга где? — кивнул на вторую кровать.

— В столовую, наверное, пошла.

— Выходит, я сорвал тебе обед?

— Ладно тебе... Была б столовая, как столовая...Все на комбиджире готовят.

Артамонов согласился с ней, что допнаек здесь, в Афганистане, большое подспорье.

— Паек? Откуда?.. Последняя радость — знакомые ребята из редакции угостили. Марина, соседка, машинисткой там работает.

— Ну вот, а мы лососевыми тараканов глушим, — играя на публику, пошутил Артамонов.

— Хорошо живете, — Наташа налила Артамонову чаю, подвинула сахар и югославское печенье, купленное в «чекушке».

«Теперь будешь жить не хуже других», — подумал про себя Артамонов.

Заметив, что Артамонов почти не пьет, а разглядывает комнату и ее, Наташа покраснела:

— Ты чего?.. Хочешь, чтоб я подавись?..

— Думаю: это ж надо где встретиться!... Как будто в Союзе места было мало... — Артамонов отхлебнул из чашки.

— Когда первый раз предложили — отказалась, хотя ничто меня не держало. Родителей уже не было. Просто страшно было погибнуть в такое время. А потом смотрю: возвращаются знакомые девушки и ничего, живые...

— И не с пустыми руками... — подсказал Артамонов.

— Не без этого, — стрельнула глазами Наташа. — Решила и я рискнуть.

За глаза женщин в Афгане называли «чекистками», поскольку платили здесь чеками. Был в этом определении и другой смысл: женщинам платили за любовь тоже чеками. Это и отталкивало Артамонова от них, хотя он в какой-то степени завидовал тем ребятам, у которых были «боевые» подруги. И если женщины в столовой, в штабе, магазине, в медпункте были для него, как говорится, сбоку — припека, то сейчас, напротив, сидел в чем-то близкий человек, больше, чем земляк...

Было над чем задуматься.

После обеда, видя, как мнется, убрав со стола, Наташа, Артамонов кивнул на пепельницу.

Наташа, слегка покраснев, принялась разминать сигарету.

— Наверное, не перевариваешь курящих женщин? — струйкой дыма она потушила горящую спичку.

— Почему... — соврал Артамонов, по-хозяйски оглядывая комнату. Ему казалось, что он нравится девушке.

На Наташу смотрел спокойно: переспелая ягода. Если и нырять в омут, то ради чего-то. Сейчас он был просто обязательным человеком. Он обещал, что заглянет? Он свое слово сдержал. Остальные ощущения — следствие хорошей музыки и присутствия женщины.

— Это не мои проблемы, — еще раз повторил Артамонов и подошел к фото над кроватью Наташи. — Это ты? — удивленно спросил он.

He докурив, она затушила сигарету, поднялась.

— А что, не похожа?.. Я целый альбом с собой привезла. Хочешь посмотреть?

— Конечно.

Они сели на кровать. Наташа, точно специально, села рядом, коснувшись бедром его бедра, и Артамонова подмывало обнять девушку — как бы по — землячески, но он сдержал себя и положил руку на прохладную металлическую спинку кровати.

— Это я в детстве, — рассказывала Наташа, листая альбом. — Вот в медучилище... Это на практике... А это в школе, в десятом классе.

Артамонов смотрел на фото и не мог отыскать на лице у той худенькой, угловатой, ничем неприметной девочки хоть что-то похожее на сидящую рядом привлекательную женщину.

— Узнаешь?

— С трудом... — заколебался с ответом Артамонов, поскольку такие девочки были и в его классе, а его тогда интересовали только Майя и Люда. — Я ведь, как перемена, сразу на волейбольную площадку убегал, — соврал он.

Фотографии разбередили душу, и Наташа вспомнила про свое село:

— Как оно там? Не выселяют ли его? Там ведь дом родительский остался.

Артамонов ухмыльнулся:

— Тут под самым носом не знаешь что творится, а ты хочешь про свой дом правду узнать. Правду про Чернобыль мы только лет через двадцать пять — пятьдесят узнаем. Точнее, про Припять. Отселили, говорят, только тридцатикилометровую зону, а если кто — то дальше живет? До моего села, например, шестьдесят км, поэтому родители мои, как жили в своем доме, так и живут, только что паек дополнительный получают...

— Но вы-то, военные, должны больше об этом знать, — удивилась Наташа. — Вам же лекции, наверное, какие-то читают.

— Должны... Из программы «Время» узнаем, что и в Афгане -то происходит. Недавно, правда, военный прокурор у нас выступал, я как раз шел из столовой, остановился на минутку послушать, — так я чуть не обалдел, услышав, что здесь и в плен сдаются, и оружием торгуют, и мужеложеством занимаются... Не удивлюсь, если через некоторое время узнаю, что мы сюда зря сунулись... Зачем мы здесь, ты не знаешь? — Артамонов

повернулся к Наташе, точно одна она могла ответить на мучивший его вопрос: «Для защиты южных рубежей»? Но южные рубежи на своей территории защищают, а мы уже, получается, чужое государство оккупировали. И сколько нам здесь придется торчать — одному богу известно...

Через секунду Андрей понял, что зря сказал все это. Нужна ей эта политика! Хотя говорил он искренне, и потому, что наболело, и потому, что больше всего боялся вопроса о семье. Нет, он не отказался от нее, от похожей на него дочурки, от сына (только сына!), который скоро должен был родиться. Он ежедневно ждал писем, огорчался, когда почты не было, но вопрос этот, о семейном положении, был сейчас неуместен. И Наташа, видимо, понимая это, не задавала его. И стала нравиться Артамонову чуточку больше, но не более того.

— Ой, я уже опаздываю, — засуетилась девушка, глянув на часы. Выключив магнитофон, пленка которого уже начала пищать, она положила на него фотоальбом.

Быстрым движением поправила перед зеркалом волосы.

— Ты проводишь меня?

Рисоваться лишний раз не хотелось, но...

— Конечно, — ответил Артамонов.

— Слушай... — Наташа на секунду задержалась перед дверью. — В воскресенье у Люды — подруги день рождения. Я от ее имени приглашаю тебя. Придешь?

Это было любопытно. Сегодняшняя встреча не завершала их необычно начатое знакомство. Продолжение следует?..

— Постараюсь, — согласился летчик.

...В комнате дежурного экипажа резко зазвонил телефон.

— Заколебали, — вздрогнул, проснувшись Егоров. — Опять в медсанбат, наверное, звонят... Родильное отделение здесь, что ли?..

— Слушаю, капитан Артамонов, — летчик первым поднял трубку полевого телефона и закивал головой. — Так... Понял... Есть!

По тому, как изменилось выражение лица командира, Егоров догадался: разговор касался их. Артамонов еще не положил трубку на место, как Егоров спросил:

— Есть работа?

— Подъем. Борт на вынужденную идет, — он сунул письма в карман куртки, напялил панаму, схватил сумочку со шлемофоном. — Обороты упали на левом двигателе. Сказали грузить НПСК (*наземная поисково-спасательная команда*) и ждать указаний.

Из комнаты они выскочили друг за дружкой.

5. ЛЕСНЯК

Было уже жарко, в небе ни облачка, далекие горы точно спрятались от солнца за голубоватой дымкой. Рядом проехала машина запуска, стреляя из-под колес густой, как вата, пылью. Когда не нужно, она всегда под рукой, отметил Лесняк. Он и полчаса не смог высидеть в прохладной хибаре дежурного экипажа. На вертолете всегда есть работа, а тут лежи, валяй дурака и жди, когда ты понадобишься. А если не понадобишься? И он подошел к Артамонову:

— Командир, я пойду на борт.

— Давай. Только оттуда ни шагу, — понимающе бросил летчик.

Лесняк за это время не спеша осмотрел вертолет, навел порядок в салоне и теперь сидел, перечитывая вечерние письма.

По железке стоянки застучали шаги, и в проеме двери показался Гена Рафалович, добродушный, застенчивый прапорщик — приборист из Белоруссии, которого с борттехником сблизил страсть к книгам. Его, знающего здесь только одно — свою работу, интересовало все, чем увлекался Лесняк. Иногда это любопытство раздражало Лесняка, и он еле сдерживался, чтобы не обидеть, не оттолкнуть от себя этого в общем-то безобидного, со смешными усами парня.

Рафалович для приличия заглянул в пилотскую кабину, затем пощупал, проверяя, мешочки с оранжевыми кассетами бортового самописца, которые со временем и в Союзе все запомнят, как символ беды — «черный ящик», неторопливо расписался в журнале подготовки и, присев, уставился на разложенные письма:

— Ого! Это все из дома? — Гена заранее виновато улыбнулся.

— Не совсем. Это письма фронтовиков из дивизии Покрышкина, — ответил Лесняк и принялся поспешно складывать конверты.

Рафалович от любопытства даже заерзал на месте.

— Того самого Покрышкина?

— Да, того самого, трижды Героя Советского Союза, что сбил во время войны 59 самолетов противника.

— А зачем вам письма Покрышкина? — Гена, будучи на несколько лет моложе Лесняка, всегда обращался к нему на «вы», и это несколько смущало борттехника.

— Это письма не Покрышкина, а тех, кто воевал с ним.

— Вы что, собираетесь писать о нем? — в эскадрилье многие знали, что Лесняк пописывает в окружную газету.

— Я разыскиваю сослуживцев отца, — спокойно ответил борттехник и в доказательство потряс сложенной пачкой писем. — На фронте он, как и ты, служил прибористом, с кем-то дружил. После войны какое-то время переписывался с однополчанами. А потом женился, дети родились, начал потихоньку поддавать и все вскоре забросил. А тут перед Новым годом получает письмо от своего товарища, тот приглашает в гости. Кое-как настрочил ответ, а письмо вернулось: такой-то адресат не проживает.

— Умер? — поспешил с выводами Рафалович.

— В адресе накосячил: номер дома с квартирой перепутал.

— А как узнали?

— А чего узнавать — с конверта нужно внимательно списывать. — И Лесняк зачем-то для убедительности показал одно из писем. — Одним словом, отец попросил помочь связаться с товарищем. Я вышел на этого товарища из Донецка — Паршина — моториста Покрышкина, тот дал мне адреса Короткова, Пугачева, Почки...

— А Пугачев и Почка это кто? — перебил борттехника Рафалович, и глаза его смущенно забегали.

— Сослуживцы отца, которых он просил найти: Александр Пугачев, Иван Почка, Федор Паршин, Вик-

тор Коротков, Михаил Артамонов.

— Артамонов? Это не отец твоего Артамонова?

Лесняк ошибался, думая, что подробный рассказ вскоре надоеет прибористу и тот оставит его в покое. Гена и не думал уходить, а новые вопросы были тому подтверждением.

— Ты что! Мало ли в мире Артамоновых: тот воевал сорок лет назад! А этот, по-твоему, его сын, служит в Афгане?

— Почему бы нет... Жизнь сейчас такая: вчера я еще по Кобрину рассказывал, а сегодня уже здесь... Твоего Артамонова как по — отчеству — не Михайлович?

Лесняк растеряно почесал затылок.

— А я и не знаю. Прямо из головы вылетело. Почти год вместе, а я ни разу не поинтересовался: не его ли отец воевал с Покрышкиным? А ведь крутилась мысль спросить.

— А ты узнай. Если Михайлыч, то, может, и он.

— Ладно, узнаю, — Лесняк торопливо посмотрел на часы и засуетился. — Цигель, цигель, ай лю-лю... Ты сейчас куда? Я лично в домик. Надо у инженера одну железку спросить.

Лесняк спрятал письма и спустился по трапу на землю.

— Я тоже в домик, — Рафалович солидарно последовал за борттехником.

х х х

Возле вертолета Лесняка было пустынно. Сам вертолет, точно большой пятнистый спутник, скользил в жарком дрожащем воздухе. Открытые створки капотов напоминали лепестки солнечных батарей.

— Коля! Лесняк! — крикнул Артамонов, поднявшись в грузовую кабину.

Вместо борттехника отозвался Егоров:

— Наверху его тоже нет. — он успел уже обойти вертолет.

В ту же секунду в салон, отстранив летчика — штурмана, поднялся сияющий Лесняк. В руках он держал тонкий трубопровод.

— Ты что, собираешься это ставить? — спросил с тревогой Егоров и посмотрел, ища поддержки, на Артамонова.

— Зачем... Это запасной. Куда-нибудь летим? — спокойно спросил Лесняк. — Вертолет к полету готов, заправка полная.

— Борт на вынужденную идет... А капоты?

— Айн момент! — Лесняк подбросил и ловко поймал отвеертку и через мгновение его ноги мелькнули в проеме люка пилотской кабины.

Артамонов глянул на Егорова, потом на часы и покачал головой:

— Где же НПСК? — спросил он не то Егорова, который уже сажался на свое место, не то себя.

Егоров, прищурившись, посмотрел в сторону ТЭЧ, сборные ангары которой находилась в ста метрах от их вертолетной стоянки. Команда НПСК назначалась отсюда.

— Можно было уже десять раз туда и обратно сбежать, — слегка стукнул он по гашетке носового пулемета.

— Ты давай подключайся и слушай эфир, — поторопил его Артамонов.

— Понял, командир! — Егоров загремел замками подвесной системы парашюта, усаживаясь поудобнее.

В пилотскую спустился Лесняк.

— И всего делов-то, — сказал он и, щелкнув над головой ручкой — замком, поинтересовался: — Как они там, которые идут на вынужденную?

— Еще не сели, — не контролируя в наушниках свой голос, громко ответил Егоров.

— А мы не спешим, — слова Лесняка адресовались Артамонову. — Без НПСК все равно не полетим. Так что вина, если что, не наша, — сказал он, вытирая руки ветошью.

Возле вертолета, заскрипев тормозами, остановилась бортовая машина, груженная продолговатыми зелеными ящиками. На кузове сидели, держась за борта, несколько человек в комбинезонах, с автоматами, зажатыми между колен.

Руководил всеми невысокого роста худощавый майор в больших очках и солдатской пилотке с офицерским крабом. Он решительно прыгнул на железку стоянки, едва не потеряв очки, крикнул:

— Перекурите, а я пока уточню что к чему.

Щегольски козырнув, подал руку Артамонову, потом Лесняку.

— Что там случилось? — сразу поинтересовался он, толкнув пальцем очки на переносицу.

— Упали обороты на левом двигателе, — Артамонов, освобождая проход, присел на сиденье и бросил взгляд на Егорова. Тот выглянул из пилотской, подтверждая, кивнул головой.

— А нам передали, что отказала основная гидросистема. — и для убедительности

показал на висевшую через плечо портативную радиостанцию. — Надо уточнить: запчасти и инструмент в этом случае надо брать другие...

Только он спустился на землю, как из пилотской раздался радостный крик Егорова, всполошивший всех:

— Все!

— Что все? Сели? Упали? — бросил укладывать чехлы Лесняк и резко выпрямился.

В проеме двери показалась голова Егорова в шлемофоне.

— Сели в Файзабаде, — посмотрел он на Артамонова. — Что будем делать, командир?

— Запросите руководителя полетов, — подсказал, заглянув в салон, офицер в очках.

— А, может, не стоит поперед батьки? — подал голос Лесняк. — Нужны будем — сообщат.

— Стоит, — спокойно ответил Артамонов и прошел в пилотскую кабину. Одел шлемофон, нажал кнопку на ручке управления.

— Запуск! — бросил он через некоторое время Лесняку и повернулся к офицеру в очках. — Все зависит от вас: успеете отремонтировать до темноты — забираем. Нет — остаетесь ночевать в Файзабаде, а мы возвращаемся.

Не заметив поблизости машины запуска, подсказал борттехнику:

— НПСК загрузилась?.. Лишним покинуть вертолет!

6. МАЙОР МОБОРАКШАХ

Первое, на что обратил внимание замполит афганского отряда майор Хафиз Моборакшах, когда они с музыкой въехали в кишлак, — пустые улицы, безлюдье. Не играли на пыльной дороге и на плоских крышах домов босоногие дети, не толкался у лавки дукащика сельский люд: седобородые аксакалы и женщины в легких морщинистых, как лицо дукащика, паранджах; не вился, возбуждая аппетит, дым над закопченной жаровней шашлычника.

— Сделай тише! — крикнул, наклонившись в люк агитмашины, Моборакшах. Он сидел на краю другого люка, свесив ноги в проем.

Радист внизу, в боевом отсеке, повернул ручку громкости портативного магнитофона и песня, летевшая из квадратных колонок за спиной Моборакшаха, зазвучала тише.

Они въезжали так в каждый кишлак. Расчехляли колонки и радист — сарбоз вставлял в магнитофон прозрачную и потертую от частого пользования японскую кассету с афганскими популярными песнями. Их на полке гнездились множество.

Рядом, зашуршав галькой, затормозил БТР командира отряда. Его цепкие глаза на бронзовом худощавом лице умеренно бежали, точно прощупывали каждую хижину.

— Ничего не понимаю, где жители?

Моборакшах поднялся со своего места, ухватившись рукой за открытый люк с повешенным на него автоматом, и тоже оглянулся.

— Ушли, наверное... Такое ощущение, что Адам-хан и здесь опередил нас. Вот как надо работать, — и майор, то ли в укор себе, то ли кому-то еще, покачал головой.

— Хафиз, ты же видишь, сколько у нас людей, — отозвался командир отряда. — Ты лучше подскажи людям, где здесь колодец — надо срочно пополнить запасы воды.

— Сразу за поворотом, — Моборакшах показал рукой где это. — Командир, если не возражаешь, я проеду к дому Ахмеда, — он вытер потный лоб и одел как следует фуражку. — Здесь недалеко. Может, у него что разведать.

— Тогда бери мой БТР, — заботливо предложил командир отряда. — Музыку слушать будете в следующий раз.

— У меня три автомата, пулемет. Хватит, — пожал плечами Моборакшах. Но командир отряда пропустил эти слова мимо ушей. Спрыгнув на землю, он подозвал к себе молоденького сержанта, командира взвода, и что-то сказал ему.

Минуту спустя трое сарбозов, почти без рук, вскарабкались на горячую и пыльную броню БТР. Посидев немного, они заерзали на месте, потребовали у водителя что-то подстелить.

— Вот еще возьмите, — подал свой бушлат Моборакшах и, ухватившись за протянутую руку одного из подчиненных, залез на броню.

БТР осторожно покати по узкой пустынной улочке вдоль высоких саманных дувалов. Пустые дворы тянулись один за другим. Калитки закрыты. Везде чувствовалась хозяйская рука: мы скоро вернемся.

«Но почему? Что случилось?»

— Стой! — требовательно махнул рукой водителю Моборакшах и тот, нажав на тормоз, вопросительно поднял серое от пыли лицо.

— Сбегай, посмотри: есть ли там кто? — кивок одному из солдат на калитку, возле которой остановились.

Сарбоз послушно соскочил с брони и, прошлепав тяжелыми солдатскими ботинками по пыли, толкнув калитку, осторожно заглянул во двор. Слабый ветерок сквозняка пошевелил серую золу очага. Еще утром на ней, видимо, готовили плов или кипятили воду для чая. Загон для скота был пуст.

Так же крадучись, солдат вошел в хижину. Вышел он через некоторое время, что — то жуя. На улице задержался, оглядываясь по сторонам, и всем своим видом показывая, что ему не страшно.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Моборакшах. Сарбоз ответил, что ему никто не встретился, что в доме никого.

— Точно сквозь землю провалились, — добавил он. Взорвался на броню, оторвал кусок ржаной лепешки товарищам, свою часть разделил пополам:

— Товарищ майор, держите...

— Спасибо, — вежливо отказался Моборакшах, хотя время завтрака давно прошло.

Доля его зря не пропала, за ней потянулась прокопченная рука механика-водителя.

— Никого. Взяли самое необходимое и пропали. В горах уже, небось, — солдат разведчик деловито отвернул колпачок зачехленной фляги, сделал глоток, запивая лепешку.

— Трогай! — приказал водителю Моборакшах.

На втором этаже дома, где размещался уездный комитет, кто-то был. За разбитым окном мелькнула фигура. Моборакшах привычно перехватил рукой автомат.

Насторожились, заметив волнение старшего, и бойцы. Но ставни со скрипом распахнулись и все увидели забинтованную голову бойца самообороны.

— Ассалам алейкум, Балуч, — вскинул руку Моборакшах.

— Асалам алейкум, товарищ майор. Заходите в дом, чаем угощу.

Моборакшах, держась за скобу, спрыгнул на дорогу. Прогнулся, разминая затекшие спину и ноги.

— Никуда не расходиться. Я сейчас, — приказал он солдатам. — Можете перекурить.

В прохладе коридорного полумрака, по скрипучей лестнице со следами пожара, Моборакшах поднялся наверх. Балуч, крихтя, убирал с полу куски битого стекла. В некоторых местах окна его заменяла полиэтиленовая пленка.

Моборакшах скользнул взглядом по противоположной стене — она была истыкана пулями.

— Адам-хан? — Моборакшах подошел к стене и провел по ней рукой.

Балуч выпрямился.

— Его дружки. Я только на секунду отлучился узнать как здоровье Хатум, жены Фатаха, вдруг слышу выстрелы. Сразу догадался: у нас! Бегу, ноги от страха, как ватные. Ахмед ведь там один остался. Пока добежал — все кончилось. Окна побиты, документы по столу разбросаны, везде керосином разлит. Лестница и стол уже начали гореть, еле потушил.

Балуч резко поднялся и нервно заходил по комна-

те, держась за перебинтованную голову и хрустя битым стеклом.

— И ведь надо: зашли с той стороны, откуда мы не ждали. Как будто кто-то предупредил. Азиз и Нурик, тоже молодцы, слышат выстрелы, понимают, что-то не так, а прибежать на помощь не догадались. Голова-то для чего аллахом дана?.. Так бы и дежурили, пока не сменил... Прибежал к уездному — пыль в конце улицы и конский топот. Я затвор передернул и с колена в последних всадников. Один взмахнул руками и слетел с лошади. Я начал было, постреливая, к нему приближаться, но они, повернувшись, такую стрельбу открыли, что я и головы поднять не мог. Раненого, конечно, забрали. Увезли и Ахмеда...

Балуч поставил перед Моборакшахом пиалу, небольшой пузатый чайник, рядом лепешку и початую пачку сахара.

Балуч, наполняя пиалы — свою он держал в руках, — продолжал рассказывать:

— Прошло не более полчаса, слышу шум под окном. Выглянул — сосед с семьей куда-то направляется. За ним еще один аксакал, и еще... Весь кишлак точно в Мекку собрался. «Куда вы?» — спрашиваю. — «Мы скоро вернемся», — отвечают. Только мулла и сказал что-то вразумительное: сюда, мол, идут люди Наджиба. Адам-хан передал, если мы их встретим, они уничтожат их всех до одного.

— Как у вас с боеприпасами, Балуч?

— Пока есть. Гранат бы, правда, не помешало. Только разве этим поможешь Ахмеду? — он задумчиво посмотрел в окно на далекие заснеженные вершины гор, точно надеялся, что они подскажут ему ответ. — Может, его уже и в живых нет. Хотя, навряд ли. Он один знает выход из ущелья.

— Они не должны далеко уйти. Для них очень важно знать, что мы делаем в кишлаке, — сказал Моборакшах. — Если Ахмед жив, мы спасем его.

Балуч поставил пиалу на стол, налил в нее из темного от заварки чайника.

— Они поскакали в сторону ущелья... Может, еще чаю?

— Нет, спасибо, — остановил его Моборакшах и благодарно приложил руку к груди. — Нам, как я понял, нельзя здесь долго засиживаться. И надо как-то сбить их со следа. Своего человека здесь Адам-хан наверняка оставил. Скорее всего, мы вернемся в свой последний лагерь. Пусть думают, что мы испугались. А вечером... — Моборакшах стукнул кулаком в ладонь. — Ты же поговори, когда вернутся, со старейшиной, с муллой, с народом. Помощь нам не нужна, хотя и это не помешало бы. Плохо если они пригреют врагов, которые схватили их односельчанина.

— После всего этого — навряд ли. Бедная жена Ахмеда, она сейчас, наверное, сходит с ума от горя. Она уже второй день с лежанки не встает, так что разговор о том, где сейчас ее муж, придется отложить, — сочувственно покачал головой Балуч.

— Что с ней? — спросил майор, снимая с гвоздя свой автомат.

— После родов. Старая Хатра сказала, что до следующего рамазана едва ли дотянет.

— Жаль... — Моборакшах повесил автомат на плечо. — Нура бы сюда, но в последнем бою его ранило. При-

шлось вызывать врача шурави и отправлять в госпиталь в Кабул. Если улучшения не наступит, найдешь меня и будем выходить на советских товарищей.

Моборакшах подошел к окну и, облокотившись свободной рукой, выглянул на залитую солнцем улицу. Бойцы, спрятавшись в тени шелковицы возле арыка, курили по очереди одну сигарету. Голубой дымок от нее терялся в зеленеющей пыльной кроне.

— Ну ладно, засиделся я у тебя. Командир, наверное, уже волнуется. — он поправил на плече автомат и серьезно добавил:

— Ты сейчас здесь самый главный представитель власти. От тебя зависит, за кем потянется народ. Если что, мы поблизости. — и Моборакшах назвал урочище.

— Будьте спокойны, Хафиз — ака, не подведу. Мне не привыкать... Так вы поделитесь гранатами?

— Да, да. Идем...

Солдаты неохотно вставали, бросив окурки на землю, лениво полезли на броню. БТР тронулся.

7. В ЛАГЕРЕ. САИД, ИБРАГИМ

Саид Фатах чинил жилетку, когда к лагерю Адам — хана приблизился отряд вооруженных всадников. Заслышав стук копыт, Саид на мгновение замер и крепко сжал теплое цевье лежащей рядом винтовки, но тут же успокоился, разглядев знакомые лица: свои.

Моджахеды спешили в тени деревьев, привязав к стволам лошадей, и начали сгружать какие-то тюки, узлы. Один из тюков оказался связанным человеком. Упав на каменистую землю, он застонал от боли. Судя по бедной одежде, это был дехканин.

К нему подошел Ибрагим, один из помощников Адам — хана, главаря банды. Держа в руке автомат, он пнул пленника в плечо, повернул на спину.

— Живой! Он думает, ему повезло, если мы не убили его сразу. Наивный глупец! Это твоим «бабраковцам» нужен проводник, чтоб пройти это ущелье, а мы у себя дома.

Сплюнув, он крикнул Саиду:

— Эй, Фатах! Иди посмотри какого активиста мы поймали. Может, это и есть виновник смерти твоего отца?

Саид равнодушно поднял голову, некоторое время смотрел на лежащего на солнцепеке пленника. Ничего не сказав, вновь склонился над жилетом. Конечно, он узнал Ахмеда, соседа, которого искал, когда погиб отец.

Саида тоже агитировали в уездный комитет, приво-дили в пример брата в Кабуле, который в то время уже работал там. Но Саид отказался. До брата было далеко, как до Мекки, и потом уметь считать деньги и стрелять, еще не значит уметь руководить народом.

Рядом остановился Ибрагим, довольно ощерился:

— Брось эти лохмотья... Смотри, что я тебе привез, — сказал он и бросил к ногам Саида серый пиджак. — Хозяину он уже не пригодится.

Саид испытующе посмотрел на Ибрагима: тот и не думал шутить. Воткнув иголку, Саид осмотрел еще добротный пиджак, примерил, обнаружив в карманах горстку хлебных зерен и баночку с насваем. Пригодится, тем более, что у него уже кончается.

Ибрагим присел рядом на корточки.

— Чего молчишь? Шел бы ко мне в отряд. Мне нужны такие стрелки, как ты... А?

Так же не спеша Саид снял пиджак, положил рядом. Опершись на автомат, Ибрагим нарочито медленно встал:

— Смотри, Саид. Больно ты гордый. Не прогневи аллаха...

Глядя в сторону, Саид обещал подумать.

— Пойду к Адам-хану, пускай раскошелится за активиста... Русские совсем рядом летают, точно ищут кого-то. Не нас ли? Уходить надо.

Саид провожал взглядом Ибрагима, пока тот не скрылся в палатке Адам-хана. Потом встал, одел жилет, взял в руки карабин и пиджак, подошел к пленному и внимательно посмотрел на него, точно хотел еще раз удостовериться, что не обознался.

Морщинистое лицо Ахмеда было искажено от боли, он испуганно смотрел на Саида и тот, боясь, что его узнают, быстро отвернулся и зашагал прочь.

Раньше Саид думал, что активисты это особенные, богато одетые люди. У каждого свой дуكان. Дети ходят в лучший лицей, а после занятий помогают родителям торговать. И как же он был удивлен и разочарован, когда узнал, что его бывший сосед Ахмед, сейчас председатель уездного комитета. «Жил, еле концы с концами сводил, за свои идеи и речи в тюрьме чаще, чем дома бывал. Дети то и дело бегали к отцу Саида чего-нибудь занимать: то немного муки, то гороха, а теперь, гляди — начальник, власть! Точнее, бывший начальник, — подумал Саид, — и власть его сейчас бессильна перед его оружием».

Саид остановился и огляделся: никому не было дела до пленника. Он быстро вернулся и, подняв Ахмеда за плечи, усадил в крохотной тени тутовника. Вынул изо рта кляп. Губы у пленника задрожали, глаза наполнились слезами...

х х х

... — Хорошо! — Адам-Хан властно хлопнул себя по колену, не сводя глаз с почтительно склонившегося моджахеда. — Я доволен тобой, Ибрагим. — тот склонил голову еще ниже. — Деньги за пленного партийца получишь в Пешаваре. Здесь они тебе все равно не нужны...

— Но, мой господин...

— Ты недоволен?

— О, нет, господин. Да продлит аллах твои годы до бесконечности.

— И еще Ибрагим, — голос главаря стал мягче. — Мне нужен человек. Верный человек. Я думаю, у тебя есть кто-нибудь на примете?

Ибрагим вопросительно посмотрел на Адам-хана.

— Нужно проводить нашего друга... — Адам-хан почтительно указал на Мэрфи, и Ибрагим скосил взгляд на иностранца в чалме. — ... в то место, где ты видел сегодня вертолеты.

— Есть такой человек. — Ибрагим тут же вспомнил про Саида, его гордый взгляд: «Кто не со мной, тот против меня». — Саид, мой господин. Саид Фатах. Он знает эти места лучше любого из нашего отряда.

— Саид Фатах, говоришь? — Адам-хан задумчиво теребил четки. — А он случаем не сбежит?

— Как можно, мой господин. Ведь он дал обет мще-

ния. Да и родные его здесь недалеко. Жена, дети. Если что — сам приползет...

Адам-хан, помолчав, приказал:

— Хорошо. Ступай! И пришли сюда Саида. Да распорядись, чтобы готовили лошадей.

— Слушаю, мой господин. — Ибрагим выскользнул из палатки.

Снаружи лицо его сразу приобрело надменное выражение, он поправил на груди патронташ, свысока поглядывая на телохранителей.

х х х

...Перед входом в шатер, один из телохранителей молча показал Саиду на кинжал, болтающийся на поясе, другой — заглянул в шатер. Саид вынул кинжал из ножен, протянул телохранителю. До него донесся жалобный вопль, и прежде чем войти, Саид приостановился, посмотрел туда, где копошились возле пленного моджахеды...

— Ну что? — Ибрагим сладострастно провел лезвием ножа по худой небритой шее Ахмеда. — Сразу тебя кончать, гяур, или еще землицы напоследок попробуешь? Вкусная она, чужая земляца? Убрав нож с горла, Ибрагим выпрямился, с наслаждением наблюдая, как подчиненный моджахед пытался запихнуть землю в рот активиста. Тот извивался, отворачивался, мычал, сцепив зубы. Сильный удар ботинка в поясницу остановил Ахмеда, он затих, глаза его были закрыты, а в уголке измазанного землей рта проступила кровь.

Ибрагим сделал знак и на голову активиста полилась тоненькая струйка желтой мочи, смывая землю и кровь.

Раздался дружный хохот подвыпивших душманов. Ахмед открыл и тотчас же закрыл глаза, сморщившись, заплакал.

— Ну что? — глаза Ибрагима азартно горели, он наклонился над активистом. — Вот тебе и земля и вода... — Ибрагим подмигнул своему подчиненному. Тот понимающе кивнул, присел на корточки, второй моджахед упал на ноги Ахмеда и, прижав их мертво к земле, начал стягивать выгоревшие на солнце шаровары. Но Ахмед этого уже не чувствовал...

8. МЭРФИ, САИД

Саид вел за уздечку ишака, навьюченного двумя зелеными продолговатыми ящиками. Когда лагерь скрылся из виду, Мэрфи вспомнил про серебряный доллар. Он полез в карман безрукавки и, не найдя там монеты, очень расстроился. Он остановился, оглянулся на лагерь. Они отошли не так уж и далеко, но возвращаться, значит потерять время. Другого такого случая не будет. И потом возвращение — к неудаче. И Мэрфи бросился догонять Саида.

Из досье агента Центрального разведывательного управления США, регистрационный номер М-3208:

«...Родился в 1949 г. в семье южноамериканского бизнесмена, проживающего в США... Образование получил в Париже (востоковедение). Обучался в Нью-Йоркской школе бизнеса...Участвовал в проведении тайных операций в Иране,

Ливане... Специализация: нелегальная поставка оружия...»

Тихо в горах... Саид Фатах насторожился: чуткий слух уловил далекий еще рокот машин. Саид по откосу стал карабкаться к гребню. Мэрфи, выйдя из-за валуна, беспокойно наблюдал за проводником. Рука его машинально расстегнула кобуру.

Быстро достигнув гребня, Саид выглянул. Далеко внизу в долине клубилась дорожка пыли. Наконец он смог различить головную бронемашину и несколько грузовых.

Колонна остановилась, пыль медленно поплыла вперед и стало видно, как из машин соскакивали на землю крошечные люди. Саид стянул с плеча винтовку. Оптический прицел приблизил колонну. В перекрестие попал офицер в афганской форме майора. Было видно даже скрещенные сабли на погонах. Подошли другие военные и он показал им что-то на карте, а потом в сторону перевала...

Саид стремительно сбегал по обратному склону. Мелкие камни выкатывались из — под ног, сыпались вниз к Мэрфи.

— Что там? — обеспокоено спросил тот, пряча пистолет в кобуру.

Саид бросил на чужеземца равнодушный взгляд, молча повел ишака по тропе.

— Чертов афганец, немой что ли? — бормотал обозленный Рональд.

Лицо Саида ничего не выражало. Тропа начала сужаться и они пошли друг за другом. Животное тащилось тяжело, но покорно, осторожно ступая по неровностям.

Саид равнодушно оглянулся на иностранца, потом на солнце. Оно краешком уже коснулось перевала. Розовели верхушки гор. В ущелье ступали сумерки. Мэрфи и Саид были почти у цели.

— Эй, Саид, ты уверен, что мы идем правильной дорогой?

Саид обернулся, кивнул, снова пошел вперед. Через полчаса он остановился, осматривая местность. Молча отвел животное в расщелину, заросшую кустарником, начал сгружать ящики.

Длинный зеленый ящик в иностранных надписях был неудобен, и Саид выжидательно посмотрел на Мэрфи. Тот нехотя подошел, придержал груз. Чье-то неверное движение, ящик выскользнул, с хрустом упал на камни. Мэрфи едва успел отскочить, взбешенный кинулся к Саиду.

— Идиот! — шипел он, хватая его за патронташ. — Ты специально это сделал? А? — от злости он путал английский и пушту. Саид никак не среагировал даже на приставленный к подбородку ствол пистолета.

Тропинка над пропастью узка, и им пришлось идти медленно, осторожно переставляя ноги. Спереди Саид, согнувшись под тяжестью большого ящика. Винтовка свисала на грудь. Мэрфи нес небольшой плоский ящик и фонарик. Неожиданно тропинка расширилась и они оказались на сравнительно широком карнизе. Слева чернел вход в пещеру. Мэрфи осветил внутрь, луч коснулся боковых стенок, но конца пещеры видно не было. Луч опустился и высветил сложенный из камней очаг.

— О'кей, — сказал Мэрфи, отстегивая от пояса фляжку, поразмыслив, протянул Саиду фонарик. —

Принеси второй ящик, да побыстрее...

Из пещеры доносилось похрапывание Мэрфи, но Саид не спал. Лицо его было освещено призрачным светом луны. Сидя у входа в пещеру, он смотрел на звезды, точно надеялся найти в них ответ на свои мысли...

9. НАТАША. АРТАМОНОВ

— Наташа? — удивленно воскликнул Артамонов, увидев в полумраке вертолетного салона знакомое лицо. Неторопливо поднимаясь по трапу, он старался разглядеть в девушке то, что должно было выдать ее положение — ее живот. Но белый халат поверх легкого платья, мешал этому. Наташа все так же была стройна и привлекательна, разве что лицо ее с легкими следами косметики, выглядело немного усталым.

Металлический чемодан с красным крестом стоял на рифленом полу у ее ног.

— А я всю дорогу голову ломал: кто же это с нами полетит?..

Вспомнив, Артамонов снял солнцезащитные очки.

— А мы только что из Файзабада. Команду НПСК туда возили. Выключились, а нам новую вводную: возвращайтесь обратно, заберете на борт доктора, потом у «демократов» проводника и в какой-то кишлак к больной. Ты об этом знаешь?

Наташа кивнула, расправляя халат на коленях.

Она уже заканчивала выполнение процедур в своей палате, когда ее вызвали к заведомому Юлии Павловне.

Женщина не спеша закурила, точно взвешивала слова, и сказала:

— Полетишь на вертолете в кишлак. Это не опасно — ты будешь там не одна. Предполагаемый диагноз — послеродовой сепсис. Точнее — сориентируешься на месте. Будут предлагать бакшиш — на слове «бакшиш» заведомым сделала ударение, — не отказывайся. У них это принято, могут обидеться.

Бакшиш был слабостью Юлии Павловны. Она приехала в этот гарнизон с чемоданами, доверху набитыми дефицитом, который пользовался у афганцев особым спросом: чайники из нержавеющей стали, расписные подносы, новенький «Зенит», водка и многое другое. Откуда она была так информирована, как ей удалось протащить все это через таможню — остается загадкой. Не получив еще ни одной зарплаты, Юлия Павловна, тем не менее, уже через месяц ходила вся в «фирме», от которой ломились полки местных дуканов.

Заметив ожидающего его в кабине Лесняка, Артамонов шагнул через сиденье с парашютом бортового техника, бросил тому как бы невзначай:

— Найди шлемофон для врача.

Егоров, понимая состояние командира, опередил Лесняка, протянул девушке свой.

— Это одень. А это, — он показал на медицинский халат, — можно снять. В этих местах проблема с химчистками....

То, что Наташа в положении, Артамонов узнал совсем случайно.

Покидая после полета вертолет, Артамонов чуть не столкнулся в проеме двери с начальником Лесняком — инженером эскадрильи. Тот поднимался по трапу.

— Как матчасть? — спросил инженер.

— Все хорошо.

— Коломиец звонил: просил, как прилетишь, зайти к нему.

— И зачем я понадобился замполиту? — Артамонов, сдвинув панаму на затылок, склонился над журналом подготовки вертолета.

— Не знаю.

В эскадрильском домике Артамонов снял трубку полевого телефона, покрутил за маленькую неудобную ручку. Замполит оказался у себя.

— Ты сейчас что делаешь? — спросил он.

— Пообедать бы надо. А после обеда «кичкалдаки» (по-узбекски «утка»: так называли вертолет Ми-6) до Хайратона сопровождаем...

— После столовой заскочи ко мне. Есть разговор.

По дороге в городок, потом в столовой, рассеянно жуя душистый хлеб местной выпечки, Артамонов пытался угадать, зачем его вызывает замполит. Операция сорвалась? С семьей что-нибудь? Но так ни на чем и не остановился.

Все стало ясно, когда он переступил знакомый порог комнаты Коломийца и сел на предложенный стул.

Майор сначала поинтересовался какими — то мелочами по службе, точно пудрил мозги, а потом неожиданно спросил:

— Ты Наташу из медсанбата знаешь?

— Женщины тоже компетенция замполитов? — ухмыльнулся Артамонов.

— Ты не ершишься. Я серьезно спрашиваю...

— Ну, знаю.

— Давно?

— Товарищ майор, а можно без загадок?

— Дело в том, что... — замполит сделал паузу, подыскивая нужное слово, — она беременна, ждет ребенка.

Панама в руках Артамонова замерла.

— А я здесь причем?

— А притом, что все, что ты заслужил здесь потом и кровью, может полететь к черту! — замполит встал и нервно заходил по комнате. — Увидите женский подол и — сердце останавливается... Орден на тебя со дня на день должен прийти, на старшего летчика документы готовим, а он два месяца потерпеть не мог...

— Кто вам это сказал? — Артамонов понял, что сопротивляться бесполезно и глупо.

— Какое это имеет значение?

— Значит, имеет.

Замполит зачем — то провел рукой по волосам, бросил:

— Кирпичников, черт бы его побрал.

— Мерзавец, — процедил Артамонов, ребром ладони легонько стукнув по верху панамы. — Решил избавиться от конкурента другим способом?

— Что — что? — не понял замполит.

— Да так, ничего, — поднялся Артамонов. — Должность одна, а кандидатов двое. — Он направился к двери.

На выходе из модуля столкнулся с Егоровым. Куртка расстегнута, в руке письма.

— Мне есть? — Артамонов потянулся за письмами, забыв о неприятном разговоре.

Одно было Егорову, два других Лесняку.

— Часик подремать можно, — объявил Егоров свое

желание командиру, глядя в лицо. — Что —нибудь случилось?

Артамонов вернул письма.

— Да так, ничего... Но когда Артамонов спросил Егорова не видел ли тот Кирпичникова, штурман понял в чем дело. Взял командира за локоть, отвел в сторону.

— Это все моя Людка виновата. Трепло! Когда вы поссорились с Наташей из-за подаренных ей Кирпичем сережек, он подвалил к ней в кино. Наташа отшила его и он, конечно, расхрабрился. Когда пошли провожать, хотел даже на ночь остаться, но Наташа вдруг сказала ему что — то резкое и хлопнула перед носом дверью. А тут моя, возьми и брякни ему: «Смотри, а то как бы чужого ребенка не пришлось воспитывать...» Я ей, конечно, потом сделал внушение, но было уже поздно. Он, видимо, и заложил замполиту. Решил, что цель оправдывает средства.

— Что же ты раньше молчал? — Артамонов осуждающе посмотрел на штурмана.

— Думал: все образуется...

— Думал... Что же делать теперь? — Артамонов посмотрел себе под ноги. — Надо бы с Наташей объясниться. Кирпича-то я всегда увижу. Но и с ним надо потолковать.

— Да что с этим козлом разговаривать? Дал по рогам, вот и весь разговор.

— Дурное дело — не хитрое, — Артамонов застегнул карман на куртке Егорова. — Увидишь у Людки Наташу — дашь знать.

Он и не думал, что случай сведет их с Наташей так быстро...

— 017-й, запуск парой? — нажал кнопку радиостанции Артамонов.

— 017-й, решаю.

В тишину аэродрома ворвался свистящий гул вспомогательной силовой установки.

— Работает, — сказал Артамонов, видя как открыл рот, прислушиваясь, Лесняк.

— 017-й, разрешите вырulerь! — открыв блистер, Андрей посмотрел на вертолет ведомого.

На месте винтов — прозрачные диски, исчезла лесенка под днищем машины, в пилотской кабине мелькнула тень бортового техника. Штурман ведомого тоже открыл свой блистер с брошенным на него бронежилетом, махнул по — деловому рукой: «Слышали... Давайте!»

Ушел под вертолет конец бетонки с площадкой в конце взлетной полосы для разворота тяжелых транспортных самолетов, заставленный бомбами в деревянных намордниках бомботары, стопками железок аэродромного покрытия, саманный пост ВАИ (*военная автоинспекция*) с опущенным полосатым шлагбаумом. Открылась глазам уходящая к темнеющим горам просторная долина с редкими высокими сосенками по берегам извилистой речки и пустые хижинки небольших кишлаков на излучине.

Артамонова пьянило ощущение полета и присутствие Наташи. В ту их первую после дня рождения, казавшуюся теперь сном ночь, Наташа вдруг спросила, устало отвечая на его нежные поцелуи: «А ты меня покажешь на вертолете?» — «Конечно» — Андрей приподнялся на локте и поцеловал твердый сосок ее крепкой,

не знавшей детского рта, груди. И это была не оговорка. В тот момент он мог сделать для нее даже невозможное. И этот момент настал.

Артамонов счастливо улыбнулся. Чувствуя, как послушна ему машина, оглянулся в блистер назад. Второй вертолет, блеснув на солнце капотом, тоже выполнил разворот, но по отношению к его машине будто замер на месте и висел ниже.

Беззвучно, то слева, то справа от него распарывали афганское небо тепловые ловушки АСО (*автоматическая система отстрела тепловых ловушек*), и вертолет, точно конькобежец, скользил по прозрачному льду раскаленного воздуха.

Артамонов бросил взгляд на приборы. До этого летали «на пределе» — на предельно — малой высоте. Но начались потери: вертол часто становился добычей ДШК (*крупнокалиберный пулемет*), а то и гранатомеа. Не спасала и броня. Вскоре прише приказ: от «точки» до «точки» идти на максимальной высоте. Пришлось перенимать науку у транспортников, терпеливо ввинчиваясь в небо над аэродромом взлета.

Морщины гор пересек шрам глубокого ущелья.

— Здесь нас никто не ждет? — Артамонова интересовала огневая оценка района. Егоров воткнулся в карту:

— На постановке задачи сказали: «чисто».

— Ты бы все же не расслаблялся...

10. МЭРФИ, САИД. ОСЕЧКА

Мэрфи, сидя у входа в пещеру, мучился от того, что не на чем было остановить свой взгляд: камни и небо. Хотя бы тучки бежали и он бы, наблюдая за ними, хоть как — то коротал свое время, вспоминал небо над своим штатом. А здесь все чужое. Не за что зацепиться глазам, как будто отрезан от внешнего мира.

Саида поблизости не было. Мэрфи прислушался. Легкое завывание ветра не доносило звука шагов.

— Саид! — крикнул он негромко в одну и другую сторону. Только эхо повторило невнятно: — ...ид. — и снова тишина. Мэрфи расстегнул кобуру, положил пистолет на колени.

... Саид слышал крик Мэрфи, но даже не подумал спешить обратно. Покричит и успокоится. Перевязав ишака на другое место, где корма было больше, он собрался уже возвращаться. Его внимание привлекли далекие фигурки людей. Он присел и выглянул из-за скалы.

Это был отряд солдат во главе с офицером. Вот передние остановились, оглянулись назад, ожидая, когда подтянутся остальные. Стоящий рядом с офицером сарбоз был очень похож на брата и, жестикулируя, что-то обеспокоено говорил...

Нет, это не брат, хотя похож. Брат Саида тоже сейчас в царандое (*народная милиция*), но в Кабуле. Учеба дала хорошую специальность — инженер — строитель, — но его революционная активность была замечена и теперь он возглавляет отряд народной милиции. Сюда он никак не может попасть. Мало кто знает о его брате, а то сколько бы сот афгани не додал ему Адам-хан...

Саид медленно опустил винтовку, стоял, прислонившись спиной к скале.

Заметил отряд и Мэрфи. Когда у тебя в руках сильный бинокль, это не проблема. Мэрфи невольно отступил назад, зацепился за ящик, едва не упал. Пещера — это ловушка, она глубока — он проверял. Но имеет ли она другой выход? Нет, дешево его не возьмешь. Он быстрыми уверенными движениями собрал переносную ракету, присоединив к герметичному контейнеру пусковой механизм.

В проеме пещеры появилась фигура. Мэрфи схватился за пистолет, замер. По свисающему концу чалмы и винтовке узнал Саида. Не обращая внимания на направленное на него дуло, тот спокойно и невозмутимо прошел вглубь пещеры и сел, прислонив к стене винтовку.

— Ты где шатался? — зашипел Мэрфи. — Ты хочешь, чтобы нас обнаружили?.. Что это?

Мэрфи бросился к выходу из пещеры, осторожно выглянул. Такой звук только у вертолета. Эхо мешало определить, откуда летели машины, хотя в это утреннее время они могли лететь только в одну сторону — к базе на советской границе.

Рокот машин слышался все ближе и ближе. Мэрфи поочередно вытер вспотевшие ладони о куртку, бросил взгляд на Саида. Тот, обхватив колени руками, равнодушно смотрел перед собой.

Мэрфи вскинул комплекс на плечо и навел оптический прицел на последний вертолет, который выплыл из — за скалы. Пока ведущий обнаружит его после выстрела — ищи ветра в поле. Конечно, придется затаиться, но пещера защитит его.

Машины медленно приближались, проплывая в вышине, уже можно было разобрать звезды и номера на фюзеляже. Звуковой сигнал и вибрация оптического прицела извещали: есть захват! Мэрфи выждал момент, когда задний вертолет прошел траверзу и, напрягшись, плавно нажал спусковую скобу дальше, включая пиропатрон стартового двигателя ракеты.

Выстрела не было... Не было привычного толчка назад и облака выхлопных газов от ушедшей к цели ракеты. Мэрфи нажал на скобу еще раз. Безрезультатно. Иностранец быстро снял с плеча полутораметровую трубу комплекса, ощупал правой рукой пусковой механизм, и опять прицелился с упреждением, целясь в двигатель вертолета. Нервно нажал скобу. Ракета внутри не ожила. Вертолеты удалялись.

Мэрфи недоуменно посмотрел на установку, на Саида, который по-прежнему, точно ничего не произошло, задумчиво смотрел перед собой.

Мэрфи жестко положил комплекс на контейнер, резво подскочил к Саиду и рывком за безрукавку и распахнутую рубашку поднял его.

— Свинья! — закричал он. — Что ты с ним сделал?

Некоторое время они смотрели друг на друга, оба задрав подбородки: Мэрфи от злобы, Саид — от рук, сжимавших его за грудки.

Первым не выдержал Мэрфи — отвел глаза. Саид мешком свалился на свое место, испуганно поглядывая на руку иностранца, достающую из кобуры пистолет. Потом резко попытался встать и кинуться к винтовке, но тотчас же упал лицом на камни, подкошенный сильным ударом в живот. Остальных ударов он уже не считал...

Саид лежал неподвижно, кровь засыхала на его разбитых губах.

Мэрфи закурил, сделал несколько быстрых нервных затяжек, потом, бросив окуроч, приподнял Саида за плечи, прислонил головой к валуну.

— Живой, — проговорил Мэрфи, видя, как двинулись и заметались зрачки в глазах Саида. — Ничего, очухаешься! В другой раз будешь осторожнее с чужими вещами, а не бросать их на камни, как мотыгу...

11. МАЙОР МОБОРАКШАХ

Батальон «зеленых» Артамонов заметил еще до того, как Егоров показал пальцем вниз. Несколько палаток в окружении бронетранспортера и пяти грузовых машин походили с высоты на небольшой кишлак. Автомашин привлекали взгляд разрисованными бортами, а пулеметный ствол БТРа таращился на безлюдные горы.

Место показалось тихим и Артамонов решил не оставлять ведомого патрулировать. Да и керосин целее будет. Летчик отдал управление Егорову: «Сажай!» Егоров приземлил вертолет недалеко от лагеря, пригибая винтом жидкую траву в красных маковых веснушках.

С посадкой вертолетов работа в лагере приостановилась. Там, видимо, решили, что привезли груз. Афганские солдаты стояли, придерживая серые суконные фуражки с прямым козырьком, с интересом наблюдали за посадкой вертолетов шурави.

Выключив двигатели, Артамонов с борттехником выскочили из кабины. Толпа афганцев робко подошла поближе. Сквозь нее, поправляя на голове полевую фуражку с цветной кокардой в виде герба республики, к вертолету пробрался афганский офицер. На его погонах блестела большая звезда и две скрещенные сабли.

Винты, останавливаясь, вращались все медленнее. Видя, как опасливо посматривает на них афганский майор, Егоров взял ручку тормоза до упора и они замерли, качнув вертолет.

— Майор Моборакшах, — представился майор Лесняку, но тот, поздоровавшись за руку, показал на Артамонова. — Он командир.

— Капитан Артамонов, — чисто символически козырнул летчик, понимая, что это не так уж и важно. Представился и афганец.

— Моборакшах? — переспросил Артамонов и взглянул в наколенный планшет, который держал в руке. Там было написано «Боров-шах» и знак вопроса.

— Моборакшах, — еще раз повторил майор, тоже заглядывая в записи летчика.

— Вы-то мне и нужны... С нами врач, мы летим сейчас к больной, о которой вы сообщили. Кишлак покажете?

— Да, да, — засуетился Моборакшах. — Я сейчас.

Толпа солдат расступилась, майор побежал в сторону лагеря. Артамонов и вышедшая развезаться Наташа с интересом осмотрелись.

— Не страшно? — Артамонов кивнул на афганцев, которые, бросив разглядывать и ощупывать вертолет, устали на женщину в голубом платье.

— А что они со мной сделают? — Наташа пристально посмотрела на Андрея и, заметив, что тот смешался, заметила мягко: — Ты же не дашь меня в обиду?..

Лукаво стрельнув коричневыми глазами, девушка, отойдя от вертолета, начала собирать маки. Гибко кла-

няясь цветам и чужой земле, она изредка бросала в сторону Артамонова насмешливый взгляд. Артамонов заметил это и запоздало отвернулся.

Афганский лагерь готовился к перебазированию. Часть солдат по — прежнему работала, среди них суетились какие-то гражданские. В отличие от «бабраковцев», у них не было оружия. Они грузили какие-то тюки и ящики на непривычно смотрившихся среди боевой техники низкорослых ишаков.

Один из гражданских не работал. Он покрикивал на других. Рядом с ним остановился такой же мужчина, в таких же одеяниях, только на голове его вместо каракулевой папахи высилась светлая чалма, и прежде, чем отойти, он что-то со злостью сказал, размахивая руками. Точно угрожал.

Первый афганец некоторое время с ненавистью смотрел ему в спину, но потом тоже направился к куче матрасов, тюков и ящиков, которую грузили на животных и одну из машин с высокими бортами, которые здесь называли «барбухайки».

— Я готов, — опять появился, тяжело дыша, Моборакшах с автоматом в руке и поправляя сбившийся планшет.

— Душманы? — спросил Артамонов, кивнув на гражданских.

— Басмачи, — ответил майор — афганец, демонстрируя знание русского языка.

— Не убегут?

— Куда?.. Кто хотел — давно убежал.

— Адам-хан? — Артамонов назвал единственное имя главаря, которое знал и попал в точку.

— Ушел собака, — выругался Моборакшах. — Но сегодня он от нас не уйдет.

Артамонов поинтересовался у майора: полетит ли кто еще и, глянув на часы, обратился к афганским солдатам:

— Товарищи, отойдите! Мы сейчас будем взлетать.

— Нахайр. Нет. Я лечу один, — отрицательно покачал головой Моборакшах, отвечая на вопрос летчика, и оглянулся, точно проверял: не стоит ли кто за спиной.

Лесняк ждал у вертолета. Ему убирать трап и закрывать дверь. Борттехник дернул замок летной куртки, доставая солнцезащитные очки, из кармана выпало несколько сложенных пополам конвертов. Отец Артамонова! — вспомнил вдруг Лесняк.

Улучив момент, он быстро подошел и взял Артамонова за локоть.

— Командир, извини за склероз, отца твоего звали Михаил?

— Раз я Михайлович, значит Михаил, — рассеянно улыбнулся летчик, поглядывая в сторону Наташи, рвущей цветы. — Что это тебя вдруг мой родитель заинтересовал? — и добавил уже серьезно: — Михаил Афанасьевич Артамонов, гвардии сержант Великой Отечественной. А что?

Лесняк, волнуясь, торопливо достал из кармана письма.

— А то, что наши отцы вместе воевали в дивизии Покрышкина... Идиот, чего же я раньше тебя об этом не спросил? Спасибо, Рафалович подсказал...

Эмоции захлестнули борттехника, он не верил в неожиданное решение проблемы и хотел поведать об этом командиру, но тот неожиданно цепко взял Лесня-

ка за плечи и легонько встряхнул:

— Коля, я тоже рад, отец для меня святое, но давай поговорим об этом вечером. — и летчик многозначительно посмотрел в сторону девушки.

Когда Наташа с букетом маков подошла к вертолету, Артамонов, точно случайно, столкнулся с ней, осматривая вертолет.

— Наташа, — начал он, волнуясь, — это правда?

— О чем это вы, Андрей Михайлович? — девушка попыталась пройти мимо летчика, но тот легонько придержал ее за локоть.

— Сегодня я случайно узнал, что ты... ждешь ребенка.

— Мне от тебя ничего не надо, — Наташа с улыбкой высвободила руку и, разделив букет на две части, одну протянула Артамонову. — Мало ли что люди говорят...

Подойдя к вертолету, девушка переложила остатки букета в правую руку, а другую руку подала Лесняку, который помог ей подняться в салон.

— Ну что, командир, летим? — вопрос борттехника вывел Артамонова из оцепенения -задумчивости. Посмотрев невидящими глазами на букет, он уронил его под колесо вертолета, и уже не видел, как Лесняк бросился поднимать цветы...

12. БОЙ В УЩЕЛЬЕ

Достигнув водопада, караван остановился. Моджахеды набирали в котелки воду, жадно пили сами, поили животных. Адам — хан был задумчив и смотрел как ставится его палатка. Отряд располагался на ночлег. Некоторые моджахеды, расстелив молитвенные коврики, ложились прямо на землю, подле животных. Ибрагим выставлял вокруг лагеря дозорных.

— Ночью проверю. Смотри у меня, — говорил он каждому из них и глаза его зло поблескивали в свете фонаря...

Адам-хан видел, как ниже по течению скачет луч от фонарика Ибрагима. Подошел телохранитель.

— Все готово, господин.

Адам-хан, вздрогнув от неожиданности, непонимающе посмотрел на бесстрастное лицо пуштуна, кивнув, приказал:

— Вернется Ибрагим, пришлешь ко мне. — Адам-хан лег на подушки, рядом оцинкованный сундук, автомат, сумка с запасными рожками, гранатами... Вскоре пришел Ибрагим, склонился в почтительном поклоне. Адам-хан выжидающе смотрел на него.

— Как дозоры?

— Выставил самых надежных и верных людей.

— После полуночи лично проверишь посты.

— Слушаюсь, мой господин, — Ибрагим усмехнулся.

До утра, во всяком случае, можно не беспокоиться: солдаты Наджиба любят поспать...

— А утром?

— Утром, если они не разгадают наш «сюрприз», мы встретим их как надо.

— Здесь, по — моему, самое удобное место. — Адам-хан склонился над картой. Ибрагим бесшумно подошел

и остановился сбоку. — Сзади к нам не зайти, зато долина, как на ладони... Здесь и будем ждать нашего друга. Если, конечно, никто не потревожит.. Ты, как

и договорились, стоишь в засаде. Пропустишь «браковцев» в долину и, как только услышишь первые наши выстрелы, — бей в спину...Ты меня понял?

— Да, мой господин, — приложив руку к груди, Ибрагим еще ниже согнулся.

— Ступай!

Тихо ночью в горах, но близится утро, и неимоверно яркие звезды гаснут на небе. Было слышно, как шумела вода водопада и преддвигавшая тишина рождала тянущий за душу звук. В далеком Кабуле муэдзин призывал правоверных на первую молитву, но город спал, как уставший за день дехканин...

х х х

Майор, командир афганского отряда, посмотрел на светящийся циферблат часов, переглянулся с Гулямом Расулом, начальником штаба. Тот посмотрел на отряд, который неторопливо втягивался в ущелье, с досадой стукнул кулаком по пыльной броне:

— Меня беспокоит связь!

— А меня это ущелье, — сказал командир отряда и проверил на автомате предохранитель. — Идеальное место для засады.

После того, как вертолеты увезли Моборакшаха, отряд разделился на две группы. Одна, в которой были пленные душманы, под охраной направилась в центр ближайшей провинции, где находилась тюрьма. Вторая группа под руководством командира отряда получила из Кабула приказ уничтожить наконец банду Адам-хана. Она направлялась к пакистанской границе. По словам верного человека, путь ее пролегал через ущелье. В нем и планировалось сделать засаду.

— Вот здесь, — командир отряда включил фонарик и показал место на карте, — в ущелье что-то вроде «мертвой зоны». Здесь мы высадим группу с пулеметом. Возглавишь ее ты.

— Понял, командир, — коротко ответил начштаба. — Только боюсь, как бы эта перестраховка не ослабила наш тыл...

Командир отряда выключил фонарик и положил руку на плечо заместителя:

— Осторожность никогда не помешает. Поэтому захвати побольше гранат. Мы же пойдем дальше, вглубь, и создадим шум. Засада басмачей, если она есть, выкажет себя, попытается ударить нам в спину. Тогда вы скажете свое слово...

Спрятав карту в планшет, майор громко скомандовал:

— Всем спешиться!

Солдаты неуклюже поползли с брони. Замелькали фигуры между машинами и бронетранспортером, захлопали дверцы.

— Возле машин оставить по одному часовому, остальные за мной, шагом марш!

х х х

Беспросветная тьма в ущелье. Спят чутким сном, привалившись к скале, часовые в лагере душманов. Ка-

жется, слышно их дыхание там, где залегли разведчики Гуляма. Он посмотрел на высокое небо, потом на солдат, и они, понимая, что от них требуется, бесшумно растворились во мраке...Прошла одна минута, другая, и донесся шум короткой схватки, чей-то сдавленный стон. Снова тишина...

Светает. Еще темно и горит на небе яркая утренняя звезда, но забрезжило на востоке.

Ибрагим сидел на тюках, когда слышался шум со стороны кустов. Лицо его насторожилось, он прислушался. Нет, показалось. Тяжело поднявшись, он пошел по лагерю, расталкивая моджахедов. Лагерь просыпался...

Адам-хан тоже проснулся, но продолжал лежать, ожидая прихода Ибрагима. С ним и пойдет на утренний намаз.

Утренняя тишина раскололась от грохота стрельбы.

— Шайтан! — прохрипел Адам-хан, хватая оружие. Он выскочил наружу и спрятался за валун, из-за которого уже отстреливался один из его телохранителей. Руки у Адам — хана тряслись, когда он передернул затвор автомата. Мозг лихорадочно соображал: что предпринять?

Афганские солдаты, стреляя из-за камней, короткими перебежками продвигались к участку, где сковывала душманов передовая группа отряда. Один из разведчиков короткими очередями вел огонь из автомата. Вокруг, повизгивая, крошили камень пули. Вдруг он дернулся и осел. Командир отряда оттащил его назад, в более безопасное место. Крикнул санитару.

Подросла группа начальника штаба, которая находилась в засаде. Массированный огонь обрушился на душманов. С горного склона, утыканного валунами, наступающим было видно, что в лагере начинается паника: метались люди, истошно кричали животные...

Ибрагим, лежа за валуном, вел прицельный огонь из автомата. Лицо его было спокойно и сосредоточенно, точно он в учебном тире в Пешаваре. Вот выстрел поразили солдата — Ибрагим улыбнулся: что ж, все не так скучно будет на том свете...

В воздух метнулась красная ракета, разбавляя утренние сумерки мертвенным светом: ударившись о выступ узкого ущелья, рассыпалась на сотни искр.

Огонь со стороны наступающих сразу прекратился. Но из лагеря душманов продолжали доноситься отдельные выстрелы...

— Братья! — крикнул в мегафон командир отряда, и эхо продублировало его голос. — Прекратите огонь!

Стрельба стихла, и только одна винтовка продолжала стрелять с короткими равномерными промежутками. Это стрелял Ибрагим, отобрав у одного из подчиненных снайперскую винтовку.

Его остановившиеся глаза ничего не выражали. Указательный палец методично нажимал курок. Кончился магазин, и Ибрагим не спеша достал новую обойму.

В наступившей временной тишине было отчетливо слышно, как шумит далекий водопад.

— Братья! — майор, командир отряда, встал во весь рост. — Сложите оружие! Я обещаю вам жизнь! Ваши жизни нужны родине...

Резко ударил выстрел, отозвался эхом в горах. Ибрагим увидел, как исчез афганский офицер, усмехнулся,

но в то же время раздался другой выстрел. Ибрагим вздрогнул, захрипел, уткнулся лицом в землю...

Один из душманов передернул затвор. Потом, точно сообразив, что теперь это ни к чему, отбросил винтовку в сторону, продолжая лежать за убитой лошадью.

— Братья! — снова поднялся командир отряда. Его поддерживал начальник штаба и молоденький санитар. Рукой майор прижимал неумело наложенную повязку, сквозь которую проступало красное пятно. — Я обещаю вам жизнь...

Командир отряда медленно шел вдоль шеренги обезоруженных душманов, поддерживая перебинтованную руку.

Одни смотрели прямо, другие, словно чувствуя за собой вину, сверлили взглядом землю...

— Где Адам-хан? — строго спросил майор, закончив осмотр и став так, чтобы видна была вся шеренга. Она ответила ему молчанием.

— Среди убитых нет, — подбежал запыхавшийся младший командир.

— Где Адам-хан? — обращаясь к пленным, повторил командир отряда. Молчание бандитов и боль в плече начинали выводить его из себя. Некоторые моджахеда удивленно переглянулись: разве могли они поверить в то, что их главарь бросил их. Хотя в этом мире все возможно...

— Ушел, шакал! — начальник штаба раздосадовано хлопнул себя по бедру. — В который раз ушел!

13. В КИШЛАКЕ

— Здесь? — Артамонов вопросительно посмотрел на Моборакшаха. Тот приподнялся с сиденья и заглянул через его плечо в прозрачный проем блистера.

— Да, здесь! — крикнул он.

— Прилетели, — передал Артамонов на борт второго вертолета. Взяв ручку управления на себя, начал гасить скорость.

— Я — 017, нахожусь над точкой. Разрешите посадку, — запросил он землю и она, перебивая шум эфира, тотчас ответила:

— Разрешаю. Будьте внимательны!

— Понял. Я пошел, — передал он ведомому.

— Лады... Будешь скучать — пиши письма. — Артамонов отдал ручку управления от себя и вертолет, клюнув носом, понесся к земле по замысловатой спирали. Вскоре он завис и мягко ткнулся колесами в землю.

Выждав, когда сквозь поднятую винтами пыль проглянули сначала клочки выгоревшей травы на пересохшей земле, а затем и обманчиво близкие, в голубой дымке пики хребта, Артамонов приоткрыл блистер. В кабину ворвалась струя жаркого, пыльного воздуха.

Еще раз осмотревшись и не заметив ничего подозрительного ни за глиняными дувалами кишлака, ни в стороне невидимого сейчас арыка, он, отвечая на вопросительный взгляд борттехника, махнул рукой:

— Вырубай!

Лесняк дернул две красные ручки под потолком кабины и двигатели, выключаясь, издали короткий обреченный стон.

— Значит так: ты сидишь на радиосвязи с КП, — сказал Артамонов Егорову. — Николай, -Артамонов на-

правил палец на Лесняка, — тоже остаешься здесь. Мы с майором и врачом идем в кишлак. Если что — галопом к нам.

— Понял, — отозвался Лесняк.

Артамонов затолкал защитный шлем за спинку сиденья и надел выгоревшую на солнце панаму. Увидел в полумраке грузовой кабины лоснящееся от пота лицо Наташи.

— С легким паром, Наташа!

Из пилотской выглянул Егоров:

— Командир, кто-то к нам идет.

Человек маленького роста почти бежал, изредка останавливаясь, чтобы отогнать увязавшуюся за ним ребяню. За спиной у мужчины болталась длиннотельная винтовка.

— Это Балуч, — сказал Моборакшах и тяжело спустился по трапу на землю. — Боец отряда самообороны этого кишлака.

Улыбка не сходила с лица бойца, когда он пожимал протянутые руки.

Сверху доносился рокот кружившегося над кишлаком вертолета. Артамонов постучал по циферблату часов:

— Дорого время, пошли.

Во дворе дома, куда привел их Балуч, пожилая женщина на корточках мыла в большом медном тазу посуду. Завидев незнакомых людей, она испуганно запахнулась черным платком.

Узнав Балуча, поднялась навстречу. Пока Балуч говорил, она лишь кивала, выжидаяще глядя на односельчанина черными в кругу морщин глазами, и лишь быстро и, как показалось Артамонову, с интересом посмотрела в их сторону.

Переговоры, судя по всему, кончились благополучно и они прошли в дом на кухню — небольшую комнату, стены которой потемнели от дыма. Их встретила другая старуха и провела Наташу на женскую половину дома. Оттуда донесся стон, потом невнятная

женская речь.

Вскоре появилась Наташа.

— Где тут руки помыть? — спросила она.

Моборакшах вышел во двор и тотчас вернулся с кувшином. Наташа достала из кармана халата пластмассовую мыльницу с кусочком карболового мыла, подставила руки под тонкую струю льющей воды.

— Ташакор, — поблагодарила она по-афгански Моборакшаха.

Стараясь не запачкать руки, девушка точно фокусник, за уголок вытащила из чемоданчика белоснежную вафельную салфетку.

— Может, какая помощь нужна? — спросил Артамонов. Экзотики за год он насмотрелся вволю и теперь умирал со скуки.

— В другой раз, — серьезно ответила Наташа и пристально посмотрела ему в глаза. Сгубаясь под притолокой, ушла в комнату, где лежала больная.

Осматривая женщину, девушка почти физически ощущала на себе тяжелый взгляд старухи — знахарки.

— Дар микина? (Болит?) — спросила Наташа единственное, что знала по-афгански и лежащая на подстилке женщина, открыв глаза, едва заметно кивнула. Она с надеждой и страхом смотрела на врача — шурави, потом веки ее лихорадочно блестящих глаз опустились.

Наташа открыла хромированный чемоданчик с красным крестом и, покопавшись в нем, достала баночку со стерилизованными шприцами и, плоскую картонную коробочку с ампулами. Она почувствовала, что взгляд старухи-знахарки стал настороженным.

— Все будет хорошо, мадар, — сказала она мягко. После укола напряженное лицо больной немного успокоилось. Наташа прощупала пульс на запястье и, удовлетворенно отметила: пока неплохо.

— Ну что? — спросил Артамонов, когда Наташа снова вернулась на кухню.

— Вроде бы уснула. Я сделала ей укол.

— А таблетки здесь не помогут?

— Ты что — о, — протянула девушка. — Если бы не мы — готовь красную ленточку на кладбище.

— Ну и что дальше? Надо везти в медсанбат? — Артамонов нетерпеливо посмотрел на часы. — Думай, времени в обрез.

— Вот именно что надо, — нерешительно сказала Наташа, — а что заведованием скажет? Ее разрешение требуется...

Артамонов чертыхнулся:

— Дожили! Чтоб человека спасти уже разрешение надо... Ну и лекари!..

— А у вас лучше? То-то я посмотрю: вольный сокол — куда захотел, туда и полетел...

К ним подошел Моборакшах.

— Все хорошо?

— Почти, — вздохнула Наташа, холодно посмотрев на Артамонова. — Нужно сказать матери: роженицу увозим. Пусть соберет все необходимое. Да, вот еще — где ребенок? Я бы хотела осмотреть его...

— Здесь какая-то крутилась девчонка...

— Это старшая, — пояснила Наташа и вошла в спальню. Артамонов, изнывая от духоты, вышел во двор и прошел под навес. Люди за глиняным дувалом любопытно заглядывали во двор. Балуч время от времени осаждал их.

— Балуч! — негромко позвал Артамонов, и когда боец, захопнув калитку, подошел, как смог объяснил жестами, что тот остается сторожить врача, а он, Артамонов, идет за носилками.

Толпа у калитки, стихнув, расступилась, пропуская и с интересом рассматривая Артамонова.

Из хижины вышла Наташа с Моборакшахом.

— Хороший мальчуган, — сказала она, щурясь от яркого солнца. — Вырастет — настоящий боец будет. Богатырь. А отец где?

— Пока вырастет, бойцы не нужны будут, — сказал Моборакшах. — А про отца лучше у Балуча спросить — он все-таки местный.

Видя, что народ вот-вот заполнит двор, Моборакшах выступил вперед и сказал несколько слов на своем языке. В толпе возникло оживление, люди задвигались. Вперед вышел старик и что-то произнес, показывая на дом. Моборакшах громко ответил и, видя, как кивает в такт его словам выделившийся из толпы старик — видимо старейшина, — можно было понять, что проблема вывоза женщины улажена. И все же Наташа про себя отметила, что большинство лиц по-прежнему остаются настороженными.

— Все будет хорошо, — сказал ей Моборакшах. — Просто они никогда не видели, чтобы военные лечили

женщин.

— Еще бы, — оживилась Наташа, — «духи» им, видно, хорошо мозги прочистили: шурави прилетели жен забирать, детей убивать.

— В это мало кто верит. Хотя кишлак, конечно, у черта на куличках, и граница рядом. Без агитации, конечно, не обошлось...

Слова афганского майора прервала появившаяся на пороге хижины старуха — знахарка. Она обратила ладони к небу и сказала торжественно:

— Аллах акбар!

По толпе прошел возбужденно — радостный шумок, она расступилась, пропуская Артамонова и Лесняка с носилками. К Наташе подошла мать больной и, передав какой-то сверток, стала что-то быстро говорить.

— Что она говорит? — обратилась Наташа к Моборакшаху, когда женщина замолчала.

Афганский офицер прищелкнул языком.

— Это бакшиш, — кивнул он на сверток. — Подарок, значит. А сейчас она приглашает всех на чай.

Поймав на себе осуждающий взгляд Артамонова, Наташа стыдливо вернула сверток матери больной. Она успела заглянуть в него: толстая пачка перехваченных черной резинкой разноцветных замусоленных «афшешек».

— Спасибо, но у нас времени в обрез...

Уже сидя в вертолете и поглядывая на спящую на носилках женщину-афганку, Наташа подумала, что Юлия Павловна не простит ей, если узнает, что она отказалась от бакшиша. Там, минимум, на японский кофейный сервис с музыкой было. Она видела такой в дукане. А если пополам, то «монтаговская» вельветовая юбка с лейблом ей и заведующей отделением.

Впрочем, жалеть уже поздно. «Что будет, то будет, — подумала Наташа, — главное, что все позади. Дай бог, чтоб все...»

Артамонов, оказавшись в привычной обстановке пилотской кабины, перестал волноваться. Они порядком задержались, и горячее у кружившегося над ними ведомого было на исходе. Но теперь, если не случится ничего непредвиденного, на обратный путь его должно хватить.

Лесняк, один за другим, запустил двигатели. Лопасты все быстрее побежали по кругу.

Артамонов видел, как отскочил в сторону провожавший их Балуч, потом фигура бойца; других жителей и детей закрыла пелена пыли. Нетерпеливо дрожа, вертолет на короткое мгновение присел, затем, оторвавшись от земли и оставляя под собой песчаное облако, устремился вверх, туда, где их поджидала машина ведомого.

14. «НАСЕКОМОЕ», КОТОРОЕ ЖАЛИТ...

Мэрфи, сидя на ящике, колдовал над ракетным комплексом. Он прозвонил электронику и, не выявив неисправности, просто поменял контейнер с ракетой. Прозрачный «глаз» ее блеснул на солнце, точно подмигнул ему. Закончив работу, американец, довольно насвистывая, аккуратно уложил установку в транспортировочный ящик, не спеша поднялся.

Засунув руки в карманы, посмотрел на неподвижно лежащего Саида. Глаза афганца по-прежнему были за-

крыты, но он дышал, по разбитому лицу ползала муха.

Мэрфи достал фотоснимок двух советских вертолетов в полете, полученный в Пешаваре. Так шурави летают сейчас. И это то, что ему нужно. Эта фотография была своего рода карманным «тренажером». Если ему придется столкнуться с вертолетами еще раз, он «сфотографирует» их лучше...

Мэрфи последний раз взглянул на снимок, потом спрятал его в карман куртки. Посмотрел на часы.

Саид по-прежнему лежал неподвижно. Мэрфи толкнул его ботинком:

— Все, подъем! Отдохнул и будет, — сказал он, когда глаза у проводника открылись. — Сматываемся...

Вдруг Мэрфи услышал вертолетный рокот. Он замер на месте, наострил уши. Быстро достал и собрал установку, опять прислушался. Шум двигателей, отражаясь от скал, то нарастал, то стихал, и было неясно — приближались вертолеты или удалялись.

Саид попытался приподняться, сделал вид, что не хочет быть безучастным, но ему с трудом удалось это, и он остался сидеть, привалившись спиной к прохладной стенке, и, откинув голову, снова устало закрыл глаза. Лоб его покрылся холодным потом.

В дальнем конце ущелья, с той стороны, куда ушла утром «пара», показалось два вертолета. Мэрфи усмехнулся. Это как раз то, что нужно. Самый раз! А он уже хотел возвращаться. Терпение — сколько раз он напоминал себе об этом. Сейчас он спокоен. Он должен сбить вертолет. На карту поставлены честь его и фирмы.

Мэрфи навел прицел на далекий еще вертолет ведомого, и оптика тотчас же приблизила машину. Она упрямо пыталась выскользнуть из кружка прицела...

Саид открыл глаза. Он тоже слышал нарастающий шум, но он показался ему пульсирующим, точно источник его находился в голове, в висках, где стучит обжигающая кровь.

Тыш — бух... Тыш — бух... Тыш — бух... Вот вертолет застыл в прицеле комплекса. Он совсем близко и за стеклами кабины угадываются люди. Они, кажется, улыбаются...

Улыбнулся и Мэрфи, предчувствуя удачу... Довольная улыбка — все, что видел Саид в проеме пещеры. Все остальное закрыла широкая спина Мэрфи. Спина, как дувал, закрывала от него свет. Он всю жизнь видел перед собой чью-нибудь спину, а когда однажды захотелось выйти вперед, его грубо остановили...

Но почему он всегда должен смотреть через плечо другого? Неужели для этого он, рискуя жизнью, оставил дома мать, беременную жену и дочь? Ведь солнце на небе светит и для него...

Собрав последние силы, Саид выдернул кинжал и, став на колени, пополз к выходу. Эта проклятая спина!..

Он уже замахнулся, когда струя отработанных газов стартового двигателя ракеты на мгновение ослепила его, и он, почти на ощупь, по инерции, поймал плечо Мэрфи и, сцепив зубы, вложил все свои силы в удар кинжала...

Темный силуэт Мэрфи осел на узкой площадке перед пещерой. В лицо Саида ударил свет. И он устало откинулся на спину и уже не видел, как огненный шар вспучился на обшивке ведомого вертолета там, куда беспощадно вонзилось серебристо — глазастое жало

ракеты.

— Командир, справа ракета! — отпрянув от блистера, почти крикнул Егоров, и руки его инстинктивно метнулись к рычагам управления. Но Артамонов был готов ко всему. Быстрым, отработанным до автоматизма движением, он бросил машину вниз, уходя от коварной ракеты, и какое-то мгновение внутренне ликовав от удачного маневра, пока вертолет не вздрогнул, точно налетел на опору.

— Попал, сука!

Летчик только на секунду бросил взгляд на притихшего Егорова, который ждал любой его команды. Но чем он мог сейчас помочь, этот весельчак и бабник Егоров, когда машина стала почти неуправляемой. И работая рычагами управления, он попытался замедлить падение вертолета, который продолжал «сыпаться»...

Понял неладное и Лесняк, который сидел между летчиками. Он непривычно вздрогнул от визга Наташи и резко оглянулся на салон. От маневра вертолета Наташа с майором слетели на рифленый пол, точно в воду и теперь беспомощно барахтались, пытаясь удержаться самим, а также помочь больной, которую инерция смахнула с носилок и тащила в сторону грузовых створок.

Только на секунду в голове у Лесняка мелькнула мысль о том, что сегодняшний долгожданный разговор с Артамоновым относительно родителей, может быть испорчен. В отличие от Наташи и Моборакшаха, он понимал, что посадка будет жесткой, и дай бог, чтобы все остались живы. В другой ситуации, он давно бы выполнил команду командира: «Прыгай!» Но сегодня они были не одни. С безучастной больной, с растерянным, потерявшим фуражку Моборакшахом и медсестрой, они давно стали одним целым, и то, что им приготовила судьба, предстояло всем разделить поровну...

Со стороны они не могли видеть, как вертолет стремительно приближался к скалам, как жадное пламя рождало смолянистую струю удушливого дыма, обозначая линию полета. Эта линия вскоре круто изогнулась к земле, и она с оглушительным стоном навечно приняла тех, кто так неожиданно дорого заплатил за свои и чужие ошибки...

х х х

Здравствуй, Андрей!

Мы с Настюшей сейчас в селе у родителей. Живем здесь уже неделю. Маму положили в больницу с радикулитом. Дядя Петя ездит к ней каждый день. Как ты понял, мы здесь потому, что оставлять дядю Петю в такую минуту нельзя. Кто — то ведь должен готовить ему?

Завтра дядя Петя поедет в Сызрань с отчетом, заберет твои письма. Сколько их там за неделю накопилось? Мы не боеем, беспокоюсь только: когда я сумею пройти все процедуры у врача?

Как ты там поживаешь? Скоро год, как мы тебя проводили, еще немножко и ты будешь дома. Скучаешь о нас или так себе, уже привык? Я все никак не привыкну, часто вижу тебя во сне. Возможно, я редко тебе пишу, но думаю очень часто, ты знай об этом.

Береги себя и води себя хорошо. Ладно? Знай, что больше я тебя нигде не отпущу. Сколько мне хлопот свалилось на голову, а помощника нет! Помощник отдыхает на юге.

Приедешь поджарый и копченый, высушенный, как вобла. Солнышко головку не бо-бо? Ну, ничего, оно вас еще приласкает, научит, как от жен убежать!

А вот и Настенька проснулась, тебе от нее привет. Она у всех нас стала спрашивать: «Как дела?» К тебе этот вопрос тоже относится.

Целуем. До свидания! Галя.

В уголке листка была обведена детская ладошка...

х х х

Боль немного стихла, и Саид перестал раскачиваться, отнял руки от головы, огляделся вокруг. Полумрак, тишина. В проеме пещеры мерцал дневной свет.

Саид пытался сообразить, что же произошло только что. Быть может, ему лишь приснился кошмарный сон? У его ног лежали рюкзак и бинокль. Это не его рюкзак и не его бинокль. Потом он увидел кинжал, который валялся рядом, тускло отсвечивая костяной ручкой. Это был его кинжал. Саид взял его и провел безразлично пальцем по лезвию. Кровь давно засохла, а потому не пачкалась. Он все вспомнил.

Саид встал на колени и разжал холодные пальцы чужеземца на пластмассовой рукоятке пускового устройства со щелястыми щитками и оптическим прицелом. Затем, не раздумывая, столкнул его под откос.

Расписанный цифрами контейнер со второй оставшейся ракетой магически притягивал к себе. Саид понимал, что он стоит больших денег, если продать его с умом. Но он тут же вспомнил отца, который однажды погнался за легкими деньгами и что из этого вышло... Теперь его очередь? Нет уж... Зеленый, похожий на длинный чемодан ящик с пустым уютным гнездом для пусковой трубы, с ракетой тоже полетел вниз. Некоторое время Саид ждал взрыва, но его не последовало.

Саид убрал кинжал в ножны, и перевернул американца на спину. Глаза чужеземца были мутны и неподвижны, а к искаженному гримасой лицу припечаталась гранитная крошка. Из растегнутого кармана рубашки выпал серебряный доллар. Покойнику он ни к чему, и Саид спрятал его в карман пиджака.

Саид, закашлявшись, сплюнул. Его тошнило от усталости и боли в голове. Он уже не испытывал к Мэрфи ненависти. Но и жалости тоже. На все воля аллаха. Лишь он вправе судить о том, кто прав, кто виноват. И если Саид сделал что-то не так, то аллах найдет способ покарать его за это. При мысли о Всевышнем Саиду стало спокойнее.

Затащив труп в нишу пещеры, он прислонил его к стенке, неторопливо, часто отдыхая, аккуратно заложил нишу камнями, чтобы ни шакал, ни беркут не могли потревожить тело чужеземца. Ведь даже неверный имеет право на покой после смерти.

Закончив работу, Саид напился воды из фляги. Вода была теплой и не утолила жажду. Ему хотелось лечь и уснуть, но он мог позволить себе лишь короткий отдых.

Саид сидел, сжимая виски руками, с губ его срывались невнятные звуки. Наконец он встал, нашел винтовку. Вышел из пещеры и, неверно ступая босыми ногами по узкому карнизу, побрел прочь. Теперь он знал, что ему делать. Главное, добраться до ишака, а уж тот вывезет. Хороший ишак. Такое животное в хозяйстве незаменимо. В горах от ишака куда больше пользы, чем даже

от лошади...

Воздух наполнился гулом, и Саид, прислонившись к скале, посмотрел вверх.

Гул нарастал, приближался. Спустя некоторое время два вертолета пронеслись в бездонном небе. Саиду показалось, что это те же вертолеты. Значит, подумал он, Мэрфи промахнулся?..

Если бы они сбили хотя бы один из них, за это заплатили бы много афгани. Очень много! Саид тоже бы получил свою долю. Этих денег хватило бы на всю жизнь, подумал Саид, но это грязные деньги. Они не угодны аллаху. А потому ракета прошла мимо.

Раньше Саид так не думал, но теперь многое изменилось. Если братья протягивают руки и говорят: «Хватит проливать кровь», то тот, кто не откликается на их призыв, достоин самой суровой кары. Разве не так говорит их Учитель? Так...

Спустившись в котловину, Саид устало опустился на траву, и ишак, завидев хозяина, радостно прокричал свое извечное «иа».

15. САИД И БАЛУЧ

Беспокойство шевельнулось в душе Саида Фатаха, когда из-за поворота показался кишлак. У арыка ишак остановился. Саид, спешившись, опустился на колени. Черная пригоршня воды, напился, умыл лицо, пристально посмотрел в сторону кишлака.

Полуденное солнце ярко освещало безлюдные улочки, дувалы, плоские крыши домов. Одинокая птица щебетала высоко в небе. Мир и покой. На земле и в небе.

Но не было покоя на душе у Саида. Он смотрел на кишлак. Там его дом. Там его жена, которая, возможно, уже подарила ему сына, там его дочь и мать... Живы ли они? Сердце Саида болезненно сжалось.

Он стер со лба выступивший пот. Ждут ли его? Или уже прокляли за то горе, что он вольно или невольно принес им. Нет, он никому не хотел зла. Теперь-то он хорошо знает, кто истинный враг. Да, теперь... Не поздно ли? Не слишком ли дорогой ценой далось ему познание истины? Кто он теперь?

Саид поднялся. Он точно знал, что должен идти. Идти домой, идти на суд людей, идти, а там будь, что будет...

На площади, в тени от стены мечети, толпились мужчины, на все лады обсуждавшие прилет шурави к Фатиме, когда их внимание привлекла одинокая мужская фигура, неожиданно появившаяся с северной стороны кишлака.

Разговоры стихли. Все с интересом наблюдали за медленно приближающимся незнакомцем. Очень скоро стало видно, что человек этот вооружен, но его пыльный и оборванный вид был настолько жалок, что даже Балуч, не счел нужным снять винтовку с плеча.

Метрах в тридцати от мечети Саид остановился. Лицо его ярко освещено встречным солнцем, разбитое, в кровавых подтеках, было неузнаваемо.

На площадь стали собираться дети, женщины.

— Эй, ты кто? — выступив вперед, строго спросил Балуч.

— Я — Саид, — прохрипели, отвыкшие от слов губы. Балуч не расслышал. Он взял винтовку на перевес.

Лицо Саида оставалось бесстрастным, зловеще качнулось от дуновения ветра конец полосатой чалмы. Старуха — мать, прищутив старческие глаза, узнала в окровавленном человеке сына. Зажав уголок черного платка рот, она с ужасом следила за происходящим.

Саид сделал шаг, другой. Приклад винтовки прочертил в пыли заметную борозду.

— Да это Саид! — прокричал Балуч и, направив свою винтовку в сторону пришельца, дернул затвор. Лицо его налилось кровью.

— Ата! Ата! Отец! — пронзительно закричала маленькая девочка в темном простеньком платице, бросилась к Саиду, подбежала, обняла за ноги, стараясь заглянуть в его усталое, окаменевшее лицо, затеребила полу выглядывающей из-под пиджака, рубашки.

— Ата! Ата! У нас братик родился! Фатах!

Что-то изменилось на застывшем лице Саида, в его немигающих глазах. Пальцы, державшие винтовку, разжались и она упала к ногам, взметнув пыль.

Прижав дочь, Саид посмотрел на Балуча.

— Ты убил моего брата! — глаза Балуча наполнились гневом. — Я убью тебя, Саид! Отпусти ребенка! — и он поднял винтовку.

Саид опустил руки с плеч дочери, но та не уходила. По смуглому счастливому лицу девочки текли слезы. Саид замер.

— Постой, Балуч! — окликнул бойца старейшина. — Ты поступишь неверно. Разве Саид убил твоего брата?

— Не знаю! Мне все равно! Они убили! Я поклялся над могилой брата отомстить и, видит аллах, я сдержу свое слово. Саид, убери ребенка!

— Стой, Балуч! — приблизившись, старейшина

отвел дуло винтовки вверх. — Разве ты не знаешь, что правительство Наджиба объявило примирение и прощение для тех, кто добровольно сложит оружие?

— Я поклялся отомстить! — вырвав винтовку, Балуч вновь прицелился. — Саид, отпусти ребенка!

Саид, облизав спекшиеся губы, попытался оттолкнуть дочь, но она крепко вцепилась в полы рубахи.

— Ата-а!

— Саид! — взвился над площадью крик старухи-матери. По толпе прошелся громкий ропот.

— Постой, Балуч! — сказал старейшина. — Ты не сделаешь детей Саида сиротами... Не надо проливать кровь, Балуч. На нашу землю и так пролито много крови. Земля от нее стала соленой. Нашей земле нужна вода, а не новая кровь... Убери оружие, Балуч!

Винтовка в цепких руках вздрогнула, но не опустилась.

— Убери девочку, Саид, — едва слышно прошептал Балуч.

Саид все же разжал руки дочери, оттолкнул ее и она, споткнувшись, упала. Все затихло. Стало слышно, как высоко в небе, под монотонный аккомпанемент далекого самолета беззаботно поет жаворонок.

Саид разлепил спекшиеся губы.

— Стреляй, Балуч, — сказал он хрипло. — Я не убивал твоего брата, но и на мне есть его кровь. Стреляй, аллах будет доволен: ты выполнил данный ему обет...

Скрипнув зубами, Балуч дернул винтовку, выстрелил... Пуля со свистом ушла вверх. Балуч опустил голову на грудь. Закинув винтовку за плечо и не глядя на людей, он пошел вдоль улицы...

Виталий Аронзон

ТРИ ПИСЬМА, ИЛИ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРА

Памяти близкого друга

Илья Михайлович в субботу скучного пасмурного весеннего дня медленно спускался по лестнице с третьего этажа многоквартирного дома в северной части Филадельфии, чтобы вынести на помойку остатки мусора со вчерашнего семейного чаепития в честь его 80-летнего юбилея. Никаких серьезных мыслей ему не приходило в голову на этом каждодневном пути, но привлекала метафора: спуск по лестнице с мусором символизирует спуск с горы при его в целом удачной жизни с накопленным хламом неудач, но о неудачах следует забыть при подведении итогов юбилейных воспоминаний и поздравлений от друзей и знакомых. Никакой печали возрастной Олимп не вызывал, а, в силу оптимистического взгляда на жизнь и иронического отношения к себе, даже увлекал тестированием друзей на их отношение, включая искреннюю дружбу, невинную лесть и затаенную зависть.

На обратном пути с помойки Илья — так к нему обращались в эмиграции: не панибратски, а официально, что его всегда коробило, если исходило от незнакомых людей — заглянул в свой почтовый ящик. И не удивляясь обилию напиханной в ящик бумажной макулатуры, которую тут же выбросил, обнаружил три письма. Засунул письма в карман, не разглядывая адреса отправителей, и — с неизбежной необходимостью добраться до квартиры по крутой лестнице по причине ремонта лифта — чертыхнулся.

Трудный подъем вверх ассоциировался с другой очевидной метафорой: восхождение по лестнице эмиграционной карьеры без языка, без связей, без знания местных обычаев, в которой шаг за шагом преодолевал ступеньки, а теперь ступеньки реальной лестницы — с усилием от боли в суставах.

Дома Илья, отложив конверты в сторону, занялся хозяйственными делами: мытьем посуды и уборкой. Не любил эту работу, но относился к ней как к необходимой рутине, такой же, как чистка зубов или иная личная гигиена, справедливо считая, что иное отношение делает жизнь невыносимой. Почту из почтового ящика, в отличие от компьютерной почты, также не любил, не ожидая от писем из бюрократических офисов ничего хорошего. Обычно это были анкеты, сообщения о снижении выплаты по пособию или просьбы о благотворительной помощи. На такие просьбы Илья изредка откликался, особенно если они касались помощи больным детям. По причине этой нелюбви к почте не торопился изучить содержание трех писем.

Когда Илья добрался до своего письменного стола с дисплеем от старого стационарного компьютера, в окно заглянуло солнце, поборовшее облака, то вспыхивая робкими лучами, то исчезая, но определенно повышая настроение: было радостно, что все-таки наступила весна, и можно будет возобновить прогулки в парк после холодной и ветреной зимы.

Открыл первый конверт, воспользовавшись специальным ножом для вскрытия почты, купленным когда-то на весенней распродаже бытовых вещей, по-американски на *yard* или *garage sale*. Илье нравилось аккуратно вскрывать конверты, коробило от скрюченных краев бумаги при небрежном вскрытии, как ненавистна была любая неаккуратность: неприбранная постель или грязный кухонный стол, или небрежно брошенная одежда.

Надпись на конверте «*Claim Conference*» не заинтриговала, так как пару лет назад Илья получил отказ в единовременной денежной компенсации как жертве Холокоста, отказ был окончательный, не подлежал обжалованию, поэтому и приятных новостей от этой организации он не ожидал. В свое время Илья и не огорчился, получив отказ, так как что-то было сомнительное в этом откупе немцев за их преступления — всегда помнил слова мамы: «Никогда им эту войну не прощу». Мама во время войны была военным врачом в действующей армии и победу в войне считала важнейшим событием в жизни.

Из письма без каких-либо объяснений следовало, что Илье выплачена денежная компенсация, и он может получить ее в своем банке. Новость была неожиданной, приятной — внушки от бабушки и дедушки получают подарки. Мысль о том, что это деньги от немцев, царапала, но Илья ее отогнал: деньги уже в банке, и нечего интеллигентничать — мог в свое время не заполнять анкету на получение этой компенсации.

Илье было 5 с половиной лет, когда началась война. Он с бабушкой и братом был эвакуирован из Ленинграда на Урал за несколько дней до объявления блокады города. Институт, где работал отец Ильи, проектировал металлургические заводы на Урале, и организовал эвакуацию семей сотрудников, которые по броне были обязаны работать на уральских объектах, отца Ильи отозвали из пункта сбора ополчения. Поэтому Илья с братом и бабушкой вернулись в Ленинград только в 1944 году по вызову мамы, которая работала в военном госпитале. Отец же был призван в армию в конце войны для вывоза из Германии оборудования металлургических заводов. Все это было описано в заполненной Илеей анкете, но организация *Claim Conference* два года назад не выплачивала компенсации в таких случаях, считая, что вывоз семьи в эвакуацию был плановым. Теперь, видимо, ошибку исправили. Возможно, жертв Холокоста стало значительно меньше, а деньги оставались. «Впрочем, какая разница», — размышлял Илья.

Второй конверт был из Белого дома: Президент поздравлял гражданина страны с юбилеем. Хорошая традиция, хотя крепко пахла добротным бюрократизмом. Письмо вызвало ироническую улыбку. Без юмора нельзя было отнестись к этому поздравлению. Илья не голосовал за этого Президента, его правление не нравилось, к партии Президента Илья не принадлежал и поддерживал разные петиции против его администрации. В

определенном смысле Илья действовал против обывательского здравого смысла, так как Президент якобы заботился о той части американского общества, к которой принадлежал Илья. Однако опыт жизни при социализме отвергал в сознании Ильи социалистические посулы.

Третье письмо Илью совсем развеселило. Илье сообщили, что он может со скидкой приобрести место

для захоронения на новом филадельфийском кладбище. Авторы письма откровенно намекали, что юбилей юбилеем, но пора готовиться к уходу в иной мир. Илья соглашался с этим намеком: готовиться надо, но торопливость их в этом вопросе поощрять не хотелось.

Прошлое, настоящее и будущее — приятное, веселое и грустное — лежало перед Ильей на столе.

Виктор Арнаут

МЕЧЕННЫЕ КАРАСИ

Бабушке Анастасие Ивановне

По соседству с нами, в Краснояре, в небольшой избушке жил дед Елизар со своей незамужней хромоногой дочерью. В колхозе дед Елизар постоянно уже не работал, лишь помогал временами — то сбрую починит, то короб для ходка сплетет, то кошечку подправит. Как-то зимой сделал он моему брату даже легкие деревянные аккуратные санки, с крутыми полозками и с крысельцами.

Дед Елизар был сухощав, лысоват, с седой бородой. Зимой он частенько болел, но с первым весенним теплом заметно преображался. А как только сходил лед, он брал потемневшие от дождя и солнца удила и в валенках отправлялся старческой походкой на залившую лужу, что была за школой под горою правее озера. Там он усаживался на бережок, неторопливо забрасывал снасти и подолгу сидел, греясь на солнышке и предаваясь ему одному ведомым думам. Бывало, одна-две удочки так и оставались лежать около него, а самого деда одолевала дрема. Мы украдкой пробирались к нему и откусывали с этих удочек крючки — большой дефицит для нас, пацанов, по тем временам.

Когда уходила большая вода, дед Елизар отправлялся на Чузик. Было, было у него там заветное местечко! Он сам и обновлял его каждый год. Вбивал в воду пару кольев и делал из двух-трех берез и веток заводь-залом. Ниже этого залома по течению была яма, метра на два с половиной. Дед бросал пригоршню-другую прикорма и всегда бывал здесь с уловом, который охотно раздавал соседям. Попадались здесь ему чебаки, ельцы, окуни, даже подъязки.

Как-то в начале лета приехал к нему на каникулы из тогдашнего районного центра Пудина внук Шурка. Шурке было лет тринадцать. Похоже, от деда своего унаследовал он привязанность к рыбалке. Для нас, красноярских пацанов, Шурка был почти что городским.

— Ну, как, клюет тут у вас? — спросил меня Шурка, сплюнув сквозь зубы.

— Да-а-а, — протянул я, — клюют гольяны...

— Гольяны? А дед говорил, что караси клевать начинают. Позавчера тринадцать штук поймал на Круглом.

— Так то — дед, — многозначительно отвечал я. — Вот, кабы на Боталево сходить! Там бы поймали! Да меня не пустят туда...

— Давай, я поговорю с твоими, может, со мной от-

пустят?

— С тобой, может, и отпустят.

— Только ты червяков накопай, договорились?

— Эт-то я — мигом!

— Тогда завтра утром и пойдем. Смотри, не проспай.

— Не-а.

Мне было лет восемь. Я тут же побежал домой, нашел консервную банку, взял лопату и пошел в огород. Там, вдоль прясла, оставалась полоска непаханой земли, поросшая травой и крапивой. Я копал землю и радовался каждому крупному червю, полагая, что на крупных червей и клевать будут крупные караси. В огород вошла бабушка.

— Баб,пусти меня завтра на рыбалку, — начал я.

— А кто тебя держит? Хоть сейчас иди, озерко вон, рядом.

— Не, на Боталево пусти, завтра. Там караси клюют. Здесь одни гомэны, надоели уже.

— Еще чего удумал? — протяжно-назидательно отвечала она.

— Да я не один...

— Знамо, что не один.

— Мы с Шуркой договорились, — канючил я, — вот и червяков уже копаю.

— С Шуркой, с Шуркой, и што такого? У матери спрашивай.

— Да она не отпустит. Баб, скажи ей, чтобы пустила меня...

— И што вас черти таку даль потащут?

На рыбалку меня все-таки отпустили. Карасей ловить мне еще не приходилось, и как их ловят — я тоже еще не знал. У меня была одна удочка — талиновый прут, метра три длиной, оснащенная леской, одним крючком и грузилом — непременно пулькой от мелкокалиберной винтовки-тозовки. На эту удочку ловил я гольянов-гомэнов, пескарей да ершей.

Гордостью моей был пластмассовый поплавок, заводской, подаренный мне одним парнем, с которым мы как-то ловили в Чузике пескарей. Снизу поплавок был голубенький, сверху белый, с небольшой антенкой и медным колечком внизу.

Незадолго до этого из Пудина привез мне отец обнову — кирзовые сапоги. До того отец сам шил нам всем обувь из грубоватой кожи, самим же и выделанной. Эти сапоги были настоящие! С черными, блестящими, почти лакированными кирзовыми голенищами, с

подметками елочкой и бархатисто-замшевыми черными передками. Я очень радовался обновке, важничал, форсил перед братом, сестрами и сверстниками. Чтобы сапоги не промокли, перед рыбалкой я густо смазал их дегтем, осмотрел со всех сторон и остался очень доволен своей работой.

Утро выдалось теплым, солнечным, ласковым. С Шуркой увязалось нас человек пять. Душа моя ликовала от предвкушения рыбалки!

К тому же на мне были новые сапоги! Я быстро семенил за старшими, то заходил сбоку, то забегал вперед, мешался под ногами и колотил их по головам своим удилишком, которое нес, как и все, на плече.

До Боталева было километров шесть. Поначалу нужно было пройти по улице вдоль деревни до мельницы, перелезть через околичную городьбу, потом перейти засеянное поле. За полем была ложбина, и за нею начинался лес. Через лес дорога вела к Воробьеву мостику, где раньше стоял небольшой пихтовый заводик. Теперь там от него оставались лишь круглые кучи перепревшего пихтового лапника у небольшой озеринки. Здесь с Серегой мы ловили голянов да бегали сюда весной за первой колбой, принося на себе десятки клещей.

Из озеринки вытекал ручеек и впадал в Щучье озеро. Через ручей был налажен небольшой мостик, который называли почему-то Воробьевым. За Воробьевым мостиком дорога разделялась: вправо шла тропинка вдоль Щучьего озера, прямо — на Боталево. Вот справа остался уже и сверток на наше заветное Светлое озеро, а мы все шагали и шагали.

По бревенчатому настилу с заложенными заборками из жердей перебрались еще через один ручей, перешли через болотинку и вышли на длинную узкую поляну. Поляна тянулась между Чузиком, что был справа, и болотом по другую сторону. Когда-то здесь был лес, тайга. Потом его вручную раскорчевали. Лес пошел на дрова и постройки, поляну распахали, засеяли, собирали урожай... Теперь поляна зарастала.

Не так давно Боталево было небольшой деревушкой, дворов на двадцать, где жили сосланные в коллективизацию и накануне войны поляки, латыши, белорусы и евреи. Теперь из нее все поразбегались. Деревни не стало. Построек тоже: что-то перевезли, а остальное варварски порушили да пожгли.

Миновав кладбище с редкими покосившимися крестами и проваливающимися могилками, что прижималось к берегу Чузика, поросшему черемушником, мы свернули влево. Тут, посреди большой поляны, заблестело наконец-то озеро. Кругловатое, метров на триста в диаметре, оно манило к себе, отпускало с неохотой. Вокруг него-то раньше и была деревня. Невдалеке от озера петлял-извивался неторопливый Чузик.

Берега озера, когда-то обжитые, теперь позаросли деревьями, жимолостью, колючим кустарником и осокой. На водной глади зеленели блюдца-тарелочки, привязанные ко дну золотыми да коричневыми стеблями-бечевками. То тут, то там искрились белизной лилии, желтели, приподнимая головы, кувшинки. В прозрачной воде под лопушками-тарелочками и между стеблями резвились стайки непутаных голяничков.

Походив немного вдоль озера в поисках удобного места, мы, наконец, облюбовали небольшой полуостров с узеньким перешейком. Пятачок полуострова был

не более двух саженей в ширину. Тут-то и разместились мы все. Ребята быстро разматывали удочки. Я тоже пристроился с краю, слева от всех. Насадил червяка, как на голянов, оборвав его под самое жало крючка, и торопливо забросил удочку в надежде на скорую поклевку. Долго ждать не пришлось. Мой пластмассовый поплавок стал приплясывать. Я ловко подсек и к удивлению своему выловил голяна. “А где же карась? Голянов я и дома мог ловить с успехом!”

Удилище мое было коротким. Глубина, докуда я доставал, была сантиметров сорок-пятьдесят. Вот уже Шурка поймал первого серебристого карася, поменьше ладони, опустил его в свой бидончик. Второго, третьего. Начали помаленьку тягать карасей и другие ребята. А у меня были все те же голяны.

Я с замороженной завистью посматривал на Шуркин бидончик, подходил к нему. Темноспинные караси стояли в нем, пошевеливая воду плавниками и хвостами. Я запускал в бидончик руку, караси с брызгами металась по замкнутому пространству. Наконец мне удавалось поймать рукой карася. Я вытаскивал его из бидончика, клал на ладонь и любовался им. На ладони карась подрагивал, норовя выскользнуть и удрать в родную стихию.

— Положи обратно,пустишь, — строжился Шурка.

Я опускал карася и возвращался назад. Брал свою удочку, пытаясь забросить подальше, и с нетерпением ждал, когда же, наконец, и у меня поймается карась. Мне так хотелось поймать карася! Самому!

— Да у тебя, поди, крючок до дна не достает, — подсказал кто-то из ребят.

Шурка взял мою удочку, настроил на нужную глубину и показал, куда лучше забросить. Вот мой поплавок качнулся пару раз, от него побежали по воде небольшие кружки, потом лег на бочок и побежал в сторону.

— Тащи! — крикнул мне Шурка.

Я потянул удочку и впервые почувствовал, как на другом конце рыба оказывала мне сопротивление. Со всем не так, как нахальный скрюченный и пучеглазый ерш, не так, как брусковатый вертлявый пескарь, и уж совсем не так, как легковесный голяшка. Карась продолжал тянуть в ту же сторону, куда поплыл вначале поплавок, потом рывками потянул в другую сторону. Наконец мне удалось выдернуть карася из воды и подтащить уже по воздуху к себе. Карась продолжал приплясывать на леске. Я уже схватил было его левой рукой, но он, задев об нее, сорвался и упал в воду. Я бросился за ним, пытаясь поймать уже в воде. Где там!

— Раз-зьява, — только и сказал Шурка.

— Беги скорее домой, расскажешь папе, как у тебя карась сорвался, — съязвил кто-то из пацанов.

Мне и без того было обидно до слез. Обидно, что первый карась мой ушел от меня. Обидно было и за то, что пытаюсь поймать карася, я оступился и начерпал воды в мои новые сапоги. Сапоги пришлось снять, вылить воду и отжать портянки.

— Дай-ка мне твою удочку, — попросил Шурка.

Он разулся, закатал штаны выше колен и зашел в воду метра на два от островка. То же самое сделали и другие ребята. Свою удочку он держал в руках, а мою положил на рогатки.

— Шур, клюет, клюет! — закричал я.

На удочке моей была действительно карасиная поклевка. Шурка ловко подсек и вынул карася из воды. Карась ничем не отличался от остальных. Но это уже был карась, пойманный на мою удочку, стало быть — мой.

— Держи, не упusti, — Шурка передал мне карася.

Я обеими руками держал его, и радость переполняла меня. Но тут обнаружилось, что дома я оставил свой неизменный чайник, куда складывал гольянов, ершей и пескарей. Вот досада! Собрался было уже насадить своего карася на прутик, но Шурка сказал:

— Клади в мой бидончик.

— Как, в твой? — изумился я.

— Не бойся, карась будет твоим, мне чужого не надо.

— А как я его узнаю?

— А ты надкуси ему плавник или хвост, — посоветовал он мне.

Как ни жалко было кусать моего карася, но пришлось это сделать. Я опустил своего меченого карася в Шуркин бидончик.

— Иди, пособирай хворост, — сказал мне Шурка, — сапоги-то надо сушить. Как домой пойдешь?

Я выбрался на берег, насобирав сушняка, и на нашем полуостровке-пятачке развел костерок. У костерка я поставил свои сапоги, а сам полез в воду, надеясь поймать карася самостоятельно. К этому времени Шурка поймал на мою удочку еще одного карася. И снова пометил я его и опустил в бидончик. Правда, на свою удочку Шурка ловил чаще и, как мне показалось, гораздо охотнее.

— Шурк, дай я сам.

— Забрасывай вон туда, в окошечко между лопухов,

— посоветовал он мне.

Я последовал совету. Ловко забросил в прогалинку и стал ждать. Ждать пришлось минут десять. Наконец, поплавок мой, как и в прошлый раз, положило на бок, и я, не дожидаясь, когда он пойдет в сторону или потонет, подсек. И снова почувствовал, что есть. Есть! Есть! Карась оказался в моих руках! Торопясь, снял его с крючка и пошлепал по воде к берегу, бросив удочку.

— Тише ты! — зашумели на меня ребята.

— Поймал, поймал, поймал! — ликова я.

Мой карась был не таким, как остальные. Те были темновато-серебристые, продолговатые. Мой же был пошире и желтовато-золотистый... Долго рассматривал я первого моего карася, ручки мои подрагивали от волнения. Гордость и радость распирали меня. Наконец, с сожалением я надкусил хвост и этому карасю и, как и предыдущим, опустил его в бидончик Шурки.

— Витька! Че это там воняет? Ты чего это, портянки в костре жгешь? — услышал я от ребят.

Я посмотрел на костерок и остоленел!

Горели мои новые сапоги!

— А-а-а-а! — завопил я, схватил сапоги и кинулся к воде сушить их.

Видели бы вы, каким жалким возвращался я домой... Даже мои меченые караси уже не радовали меня.

... А сапоги отец починил: пришпандорил внаклад две огромные заплатки спереди — на голенища. Так и донашивал я их, стыдясь того, чем совсем недавно еще так гордился.

Федор Ошевнев

ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС НЕ ПОШЕЛ?

В учебный полк, на вакантную должность командира роты, из Дальневосточного военного округа прибыл подполковник Ронькин. До перемещения старший офицер служил заместителем командира ракетной бригады по тылу, но, по слухам, оказался козлом отпущения в расследовании по поводу крупномасштабного присвоения войскового имущества. Впрочем, по неведомым нам причинам, военная прокуратура быстренько квалифицировала должностную халатность фигуранта как дисциплинарный проступок. И с рук на руки сдала штрафника начальству: наказывайте, мол, своей властью. В итоге главного бригадного тыловика с понижением в должности перевели из непрестижного округа... в курортный, южный.

К исполнению новых обязанностей Ронькин приступил рьяно. Утром, представленный комбатом личному составу роты, сразу пообещал в кратчайший срок вывести подразделение из отстающих в передовые. И тут же засел в канцелярии, где к вечеру перелопатил все имеющиеся там бумаги, оставшись крайне недовольным ведением ротной документации. А когда солдаты и сержанты ушли на ужин, принялся один на один беседо-

вать с командирами взводов.

Первым аудиенции удостоился лейтенант Заступин. Задав ему ряд общебиографических вопросов, Ронькин ошарашил подчиненного предложением написать рапорт о переводе в Дальневосточный военный округ.

— А за что? — обидчиво спросил, оттопырив нижнюю губу, лейтенант. — Чем

Чем это я вам сразу не угодил?

— Ага-а! — радостно протянул Ронькин, воздев к потолку мясистый указательный палец. — Стало быть, на дурничку надеемся? Всю службу по тылам да по югам отсидеться, балду прогонять?..

— Это я-то балду гоняю? — еще больше возмущился Заступин. — С утра до ночи в казарме, ни выходных, ни «проходных»...

— Молчать! — насупившись, прикрикнул на него ротный и открыл тетрадь энциклопедического формата в красном ледерине и с золотым тиснением по нему: «Приказы». — Приказ министра обороны номер... от девяносто восьмого года. Быстро!

Комвзвода наморщил лоб, но, конечно, ничего не вспомнил: приказ издавался, когда лейтенант еще учил-

ся в начальной школе.

— Ага-а! — торжествуяюще протянул и почти уткнул палец-«сардельку» в грудь подчиненному Ронькин. — Ни хрена не знаешь? Дармоед! Гнать из армии в три ша! Вон, блин, из кабинета!

Следующим в канцелярию постучался лейтенант Опенкин — и через пять минут выскочил из нее под аккомпанемент аналогичных «похвал».

К тому времени тертый жизнью капитан Барбачев уже успел выпытать у Заступина детали «задушевного» разговора и в канцелярию вошел готовый к нему.

Капитан спокойно разыграл с Ронькиным все тот же испытанный ротным вариант «индивидуальной беседы», бесстрастно выслушал, что он, взводный со стажем, есть «дурничный балдежник», без которого «армия только облегченно вздохнет», и попросил разрешения задать вопрос.

— Ну... — снизошел до соблаговolenия начальник.

— Вот лист бумаги и ручка. Можете по памяти нарисовать схему фильтрации горючего на складе ГСМ авиатехнической части?

— Чего-о? — изумился ротный. — Да на фига она мне нужна? — и пренебрежительно отбросил граненую авторучку, скатившуюся со стола на пол.

— Да по должности знать положено, — подстроился под лексикон подполковника Барбачев, настойчиво возвращая авторучку на чистый лист. — А какие анализы ГСМ производятся на полевой лаборатории ПЛ-2М? А чем октановое число отличается от сортности в маркировке авиабензинов? А...

— Молчать! — рывкнул ротный и бухнул кулаком по столешнице. — Ты мне лапшу на уши не зависай! Число, сортность какую-то удумал! На хрена, говорю, они мне сдались! Главное — воинская дисциплина и уставы!

— Насчет этого ничего против не имею, — быстро согласился Барбачев. — Однако смею напомнить, что по должности вы — старший преподаватель, тире — командир учебной роты. Стало быть, все вопросы курса подготовки будущих лаборантов ГСМ обязаны знать назубок! Как же иначе нас, взводных, проверять будете? Знание основной программы, методика, контроль перспективных наработок, наращивание учебно-материальной базы?..

— Ну, ты! — перебил, мало что уловив, подполковник. — Не умничать мне тут! Не боги горшки!.. Надо — и нарастим, и освоим!

— Ну и мы давние приказы освоим, — с улыбкой пообещал капитан. — Сами знаете, как их обычно доводят до нас: в части, касающейся...

Больше в тот вечер Ронькин с командирами взводов не беседовал. Может, подустал, а может, и еще по какой причине.

Весь следующий день ротный лазил по солдатским тумбочкам, заглядывал под матрасы, ревизовал кладовую-каптерку, копался в комнате для умывания, а особенно долго — в туалете. Вечером же, в канцелярии, победно орал на командиров взводов, утверждая, что:

— Рота погрязла в грязи!

— Честь подразделения обещана нечищеным оружием!

— Налицо наличие отсутствия присутствия дисциплины!

— В казарме беспорядочный беспорядок!

Наконец подытожил разнос:

— С завтра все прибываем в подразделение до подъема, а убываем после отбоя. И никаких выходных и праздников до тех пор, пока не выведем роту из отстающих в передовые!

Робкий ропот тут же был пресечен ударом кулака по столешнице и грозным рыком:

— Молчать, блин! Я в роте хозяин!

После затянувшейся паузы «хозяин», поморщившись, добавил:

— Эх, и дураки же вы все, непонятно чем набитые! Ведь для вашего же блага стараюсь!

Наутро офицеры роты были в казарме кто в полшестого, кто в пять сорок. И только сам Ронькин появился к восьми утра и со следами затянувшегося возлияния на лице. По этому поводу он сразу же недвусмысленно выразился: «Старшим в задницу не заглядывают!» — и вновь принялся играть роль инспектирующего, присланного в подразделение с целью разгромной проверки.

Минули сутки, двое, трое. Офицеры роты, про себя и меж собой костеря начальника-деспота, продолжали приходить в городок ранней ранью и разбредаться по домам в ночь. Вечерами лейтенанты и капитаны слонялись друг за другом по пустой казарме: пока рота отужинает, да полтора часа свободного солдатского времени, да просмотр теленовостей... Короче говоря, уже на четвертый день возникла идея «употребить». Острограммились... Жить стало легче, жить стало веселей! А следующим вечером взводные «употребили» на удивление много (чего в подразделении отродясь не случалось) — и тут перед самым отбоем в роту с внезапной проверкой приехал полковник — командир части.

Эх, как же громил он несостоявшегося передовика!

— Суббота, десять вечера, — а у него полная казарма пьяных офицеров! Вы что, товарищ подполковник, совсем офонарели? Это и есть «новые методы работы», о которых мне недавно соловьем разливались? Идиот! Тупица! Уровень ефрейтора!

Ронькин стоял, вытянувшись в струнку, и тупо пожирал глазами начальство.

— Да я, товарищ полковник, — попытался было оправдаться он, — честное слово, в упор не понимаю, как оно так вышло. Хотел же как лучше... Ну ничего, сейчас вы уедете, — и на физиономии старшего офицера проглянуло нечто звериное, — я им всем такого покажу!

— Я т-те, дебилоид, покажу! — И полковник нещадно выматерился, едва не подпрыгнув от полноты чувств. — Тебе и ефрейтора чересчур много! Кретин! Туподум! Чурбан-зад! Звони в автопарк! Вызывай дежурный автобус! Офицеров развезти по домам, чтоб еще по пьяни никуда не угодили! Сам останешься здесь! Лично контролировать отбой!

— Есть! Так точно! Понял! — угодливо-готовно выкрикнул Ронькин.

...На следующий день подполковнику было объявлено серьезное взыскание: предупреждение о неполном служебном соответствии, и он временно прекратил процесс выведения подразделения из отстающих в передовые. Но никто в части уже не сомневался: вскоре горько-ротный, в своих попытках реабилитироваться, обязательно придумает еще что-нибудь дубовато-разедакое,

а со временем точно доведет подразделение до полного развала.

И ведь довел. Всего за полгода. После чего был уволен как бы по сокращению, и теперь, не в силах усидеть дома, на пенсии, очертя голову кинулся в политику, где на всех углах бьет себя кулаком в грудь, яростно восклицая:

— Я — истинный патриот российской армии! Через то от нее и претерпел!

Самое интересное, что в части Ронькина сегодня вспоминают добрым словом, потому что на освободившуюся должность комроты прибыл офицер, по сравнению с которым подполковник для подчиненных был просто отцом родным.

Михаил Блехман

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ОСТАНОВКИ

*Он был обыкновенным днем.
Зинаида Гиппиус*

— Как по-твоему, что лучше: когда телефон звонит или когда не отзывается?

Он вздохнул в ответ: на простые вопросы невозможно ответить, спроси что-нибудь посложнее. Когда мы поднялись в автобус и сели у окна — то есть я у окна, он рядом — получилось забыть о телефоне и думать о том, что то, чего ждешь как соломинку, случается неожиданно и совсем не так, как то, чего и не ждала вовсе. Я схватилась за него, прижалась, съезжилась, и автобус увез меня от телефона, который молча звонит и умолкает, не зазвонив. И зазвонив, тоже ведь умолкает.

— Ожидаемое нельзя торопить, — произнес он полусонно, под аккомпанемент нашего зашуршавшего автобуса.

Было так рано, что, казалось, поздно не будет никогда. В автобусе включили свет.

— Наверно, тебе все равно, — сказала я, глядя на застывший, потом уплывающий и, наконец, убегающий город, в котором затаился умолкший или зазвонивший телефон. — Конечно, все равно — пришел себе и ушел.

Но я ждала тебя уже сильнее, чем звонка. Никого и ничего не ждала так, как тебя, хотя тебе и безразлично.

Он обнял меня, ни к чему не обязывая.

— Я пришел, потому что мне не безразлично. Знаю, как сложно быть безразличным тому, кому не безразличен ты. Но я бы пришел, даже если бы ты меня не ждала. А ведь ты ждала, уж я-то знаю.

Мы выехали из города.

Мимо нас уходили дорожные указатели, придорожные бензозаправки, силосные башни, прохудившиеся и отремонтированные сараи. Трактор застыл посреди поля, словно кораблик на рейде. Олень спешил семимильными шагами, то ли убегая неизвестно от кого, то ли пытаясь кого-то догнать.

— Не могла тебя дожидаться, — сказала я. — Телефон требовал ждать и мешал ожиданию. Он понимающе молчал, и я продолжала:

— Чем дольше ждешь, тем сильнее боишься ожидаемого. Но больше всего боишься, что телефон зазвонит, а ты не найдешь ответа.

Он задумался. Чуть слышно проговорил:

— А если вопроса не будет?

— Тогда вопрос должна буду найти я, и это так же

сложно, как найти ответ.

Красивые забегаловки послушно убегали от нас, будто их и не было вовсе. Когда у тебя что-то есть, это становится само собой разумеющимся. Потом на их место приходят другие, а то, что было, забывается так же просто, как потом забудется пришедшее.

— Ты надеялась, что я помогу тебе не думать о телефоне? Попробую... Хотя уехать — не только самый надежный, но и самый безнадежный способ забыть. Он, твой телефон, будет ждать тебя с таким же нетерпением, как ты ждала меня. А дождавшись, зазвонит или нет — не все ли тебе равно? Ответа у тебя все равно не будет, и вопроса тоже.

Указатель предупреждал, что лоси и олени в этом месте переходят дорогу. Стоило ли бежать за нами или от нас, чтобы перейти дорогу перед самым нашим носом?

Солнце только-только начало подниматься над автобусами, телефонами, оленями, силосными башнями, опрятными забегаловками. Мы уезжали так надолго, что, казалось, уезжаем навсегда.

— Вопрос у меня есть, но он такой простой, что вряд ли я дождусь ответа.

— А ты ждешь его? — переспросил он. И поспешил добавить:

— Лучше жди меня, я не подведу. Чем дальше от нашего города, тем спокойнее: телефон вроде бы и есть, но так далеко, что его почти нет. То, что не рядом, всегда нереально. И кажется, что все устроится само собой, и не будет ни молчаливых звонков, ни звенящего молчания.

Туча, отдаленно похожая на сильно подгоревшую отбивную, затарабанила горохом об стенку.

— У тебя — целый, огромный, бесконечный день. Чтобы он не заканчивался, забудь о телефоне, зато думай о каждой минуте своего дня. Та минута, которая у тебя сейчас, не менее важна, чем следующая, поэтому не думай о следующей, думай о той, что сейчас. Чем больше о ней думаешь, тем дольше она длится, тем дольше длится состоящий из этих бесчисленных минут день. Бесчисленных — если не бросить их на самотек. Кому знать, как не мне!

А иначе — от минуты до минуты, от этого дня до следующего — рукой подать, как подают милостыню. И ведь берут — за неимением ничего другого и лучшего.

— Впереди у тебя бесконечная вечность, — пообещала.

щал он, когда мы приехали на автовокзал цвета мокрого асфальта.

Было не так рано, как в самом начале, но еще совсем, совсем не поздно.

— Будущее начинается только тогда, когда о нем начинаешь думать.

Он не смог бы уйти от меня, даже если бы захотел, потому что я не переставала изо всех сил держаться за него. Но захотеть он не мог, мне ли не знать. Впрочем, он тоже не отпускал меня и уходить не хотел. Кажется, не хотел. И, кажется, не собирался. Мы никуда не спешили из нашей вечности, шли куда глаза глядят по улицам, к которым приятно возвращаться и от которых не хочется, хотя и приходится, уезжать. Но я не думала об отъезде, старалась не думать, поэтому отъезд казался почти несуществующим, как и все, о чем не думаешь.

В книжном магазине, куда мы вошли, не было, к счастью, никого, кроме неназойливой продавщицы, и, тоже к счастью, книг. А значит, не похожего ни на какой другой запаха.

Я листала новые страницы, но старых слов там не находила, а они, старые мои слова, мелькали в памяти как новенькие, никуда, оказывается, не исчезнув. Читать же новые мешал оставленный рано утром телефон — своим ожидаемым молчанием и неожиданным своим трезвонком.

— Вот она, старая, хотя с виду не скажешь, — посоветовал он мне.

— Да, с книгами это случается, — согласилась я и расхохоталась, потому что не только ведь с книгами. Продавщица понимающе улыбнулась, хотя что же тут понятного? Когда телефона у меня, к счастью и к сожалению, не было, я читала эту книгу в парке, там есть очень удобная скамейка, на которой удобно прогуливать пары. Вот надо же: вместо того чтобы прогуливаться парой, прогуливаешь пару, но книга того стоила, а пара, конечно, нет. Я засиделась до конца всех пар и чего-то дополнительного, но книгу так и не дочитала, а мне ее дали до вечера.

Столько воды утекло, и все же книга и скамейка никуда не исчезли.

— Дочитывай, — предложил он.

— Я подожду. Куда мне спешить?

Книга пахла скамейкой, но на одну скамейку дважды не сядешь. Она не река, с рекой было бы куда проще. А он спешил, мне ли не знать.

— Спасибо, — сказала я продавщице, вставая со скамейки, пахнувшей недочитанной книгой.

Продавщица не была разочарована. Думаю, от нее часто уходили, разве что приходили нечасто.

Мы вышли на улицу, и река продолжала течь, так уж ей на роду написано. Было еще совсем рано, солнце только-только начало отражаться в утекающей воде.

— Куда ты поведешь меня теперь? — осведомилась, вернее, предложила я. — Еще все еще рано, можно никуда не торопиться, а значит, везде успеть.

— Время не истечет, — подтвердил он, и я поверила обещанию. — Время — не река, хотя войти в него можно лишь однажды. Зато оно, время, целую вечность никуда от тебя не денется. Главное — не засматриваться в будущее и не задерживаться в прошлом. Договорились?

Он знал, что со мной легко договориться, особенно когда солнце только-только начало отражаться в реке.

— Интересно, почему этот магазин и вино называют марочным? — задалась я игривым вопросом, легко открывая тяжелую дверь под звон колокольчика.

У него, как и у меня, ответа не нашлось, хотя вопрос вовсе не казался простым. Это на простые нет ответа. Например, что лучше — когда телефон звонит или когда не отзывается?

— Забудь о телефоне! — подсказал или приказал он.

— Солнце так высоко, что время телефона ушло надолго.

Навсегда не уходит ничего, поэтому пусть уж надолго, решила я подчиниться его подсказке-приказу, когда дверь за мной медленно закрылась.

Мне известны разные категории продавцов. Одни ненавязчиво скучают, другие скучают навязчиво. Третьи, как этот, невинный, ну то есть не имеющий отношения к марочному вину, выказывают занятость и деловитость. Он знал себе цену, потому что был окружен королевскими ценностями: пальмами, кораблями под парусом, диковинными животными с непроизносимыми именами, фортами, первыми в этих краях железнодорожными линиями, да мало ли чем богаты королевы и короли.

Продавец деловито не снисходил до случайных посетителей, и я могла позволить себе засмотреться на любимых монархов, о которых едва не забыла с тех пор, как стала готовиться к телефонному звонку или его отсутствию. Моложавый король, легко обходившийся без короны, слегка улыбался. Юная королева смотрела вдаль. Одну и ту же даль дважды не увидишь, тем более что со временем она только удаляется.

— Ничего не подобрали? — ответил продавец на собственный риторический вопрос, в котором чувствовалось его собственное же достоинство.

Я могла бы ответить на этот ответ вопросом, но меньше всего хотелось спускаться или опускаться для ответа.

Можно было бы, не выходя из королевских покоев, рассказать о каждой царапинке и каждой щербинке мраморно-безупречной дворцовой лестницы или о том, как, помнится, за мной увязалась соседская кошка, намеревавшаяся собственными глазами увидеть королеву. Она погналась за более чем не королевской мышкой и потому попала в детскую считалку. Но я аккуратно закрыла когда-то открывшийся альбом, и мы вышли на улицу.

— Насчет мраморных — это я для красного словца, — объяснила я.

Он не обратил внимания, зато воскликнул так тихо, чтобы не услышал никто другой:

— Смотри, как еще рано: солнце будет опускаться бесконечно долго, у нас с тобой еще столько времени!

Я была согласна со всем и на все, только бы удержать его.

Он обнял меня и никуда не ушел.

— Ты хотела марочного вина вместо магазина? Вот, говоря старым стилем, изволь.

Я изволила, как тут не изволишь. Он промолчал, но явно обрадовался моей веселости.

Дверь показалась тяжелой — та, помнится, была легче. Хотя мало ли что помнится.

Веселый до безразличия официант налил марочного вина.

— Тот день был другим, — вспомнила я, хотя, конечно, не забывала.

— Лучше или хуже? — вовсе не обиделся он, просто поинтересовался. Собственно говоря, ревность — это когда просто интересуются. Да? Я отпила, закусила принесенным и пояснила:

— Не люблю сравнительную степень. Превосходная, в отличие от сравнительной, подразумевает единственное число, а мое отношение ко множественному тебе известно.

— Смотря кто у тебя в единственном и у них — во множественном, — мягко не согласился он.

Тогда дверь была легче, а официанта не было. То есть он был, наверно, даже наверняка, просто не запомнился, и вспомнить его не удавалось. Разумеется, вспоминаешь то, что забыла, незабытое не вспоминаешь именно потому, что оно и не думало забываться.

— Хорошо, когда вспоминать не нужно, — добавил он, хотя откуда же ему знать.

— Потому, что все равно забыла, или потому, что все равно помнишь, — согласилась я.

— Смотри, как еще рано, — успокоил он меня, когда мы вышли из потяжелевших дверей. — Солнце только-только начинает опускаться.

Успокоение действовало не в полную силу: путь до автовокзала был совсем не таким длинным, как от него, и дорога домой — короче дороги от дома.

День уходил от меня, соседнее сиденье опустело, хотя остановок автобус не делал, да и что изменит остановка.

За окном уже паслись конфетные коровки, вывески на силосных башнях менялись в обратном порядке. В автобусе включили свет.

Мимо нас уходили дорожные указатели, придорожные бензозаправки, прохудившиеся и отремонтирован-

ные сараи. Все — как когда все только началось, вот только названия на башнях летели в неправильном порядке.

— Просто в обратном, — успокоил бы он, если бы остался.

Но разговаривать со мной было уже некому, и мне — теперь уже не с кем.

Телефон, скорее всего, заждался.

Конечно, заждался, мне ли не знать.

Все пролетало и проходило.

Наверно, все, что приходит, приходит для того, чтобы пройти. Приходящее — на поверку оказывается переходящим.

Неужели все — только для того, чтобы пройти?

Вот и он прошел, как я ни просила его побыть подольше. Да что там подольше — бесконечно долго, вот о чем я его просила.

Ну что же поделать: он ушел от меня, потому что был обычным днем, каким бы необычным ни был. Я изо всех сил удерживала его, как, наверно — откуда мне знать наверняка, — всадник удерживает пустившуюся вскачь взмыленную лошадь.

Он был всего лишь днем, а значит, не мог не закончиться.

И телефон не мог не вернуться, и снова молчал, даже когда раздражался обнадеживающим и лишаящим надежды звонком.

День закончился, оставив после себя пустое автобусное сиденье, на котором никого, кроме него, у меня не могло быть.

Его, моего обычного дня, больше не было нигде, ни за одной из дверей, ни за одним из окон.

Он прошел.

Хотя начался так рано, что, казалось, не закончится никогда.

Владимир Шумилов

ВАКЦИНА

Каждый год, в течение пяти дней, Василий Петрович болел гриппом. Этими днями были первые дни Нового года. Оно и понятно. За ними следовали Рождественские праздники, а там, смотришь — суббота с воскресеньем подвернутся и — на тебе, полмесяца как корова языком слизала.

Через пару лет заболевание Василия получило у его коллег название «синдром Василия». Каждый раз, когда синдром подступал к телу, у него происходило не что иное, как воспаление «среднего» уха. До смертного случая пока далеко, но вот что странно. В этот самый момент в квартире у Василия Петровича наблюдалось наибольшее число смертельных исходов среди квартирных тараканов. Этот падеж приходился как раз на дни интенсивной болезни хозяина квартиры. И что удивительно, с каждым годом число смертных случаев увеличивалось, перевалив за сотню! Увеличивалась с каждым годом на один день и продолжительность болезни Василия.

Эту странную прогрессию первым заметил началь-

ник — Семен Семенович Черный. Вывел он и свою закономерность, с которой не считаться — означало потерять коллектив. Кому неохота лишний день отгулять в Новогодний праздник?

Начальник решил бороться. Опасный синдром мог заразить коллектив, вызвать нездоровую зависть у коллег по работе, их расслабление, с чем Семен Семенович согласиться никак не мог.

Перед наступлением декабря в голове у начальника засвербило: «Не дай испортить себе Новый год. Не дай!»

Семен Семенович заметил, что каждый раз, перед тем как Василию заболеть, за неделю тот начинал чесать ухо. Ухо Василия Ивановича распухало, и больной спокойно справлял новогодние и иные дни в кругу семьи. Второго числа больной шел в дежурную поликлинику и брал больничный лист.

Когда же он уходил из дома, жена, отодвинув диван, посыпала белым порошком плинтуса за диваном мужа. Через пару дней начинался массовый выход тараканов

из подполья, в попытке отыскать воду.

Сбросив ноги на пол, Василий попадал ими в их полчище. Под ногами раздавался хруст, вызывавший отвращение, с одной стороны, и пролетарскую ненависть к этой мрази — с другой...

Семен Семенович пошел на дело, решив упредить «синдром Василия». Как только увидел, что Василий первый раз почесал ухо, срочно собрал коллектив, доведя до всех график праздничного дежурства в Новый год. Никакие болезни в расчет не принимались. Будь ты хоть труп, отведи свое дежурство, тогда и можешь болеть. Всем праздник хочется встретить в кругу семьи.

Василию Петровичу выпало дежурство со второго на третье января. Услыхав такой расклад, тот передернулся, но промолчал. Ход, сделанный начальником, оказался верным. Василий Иванович перестал чесать ухо.

По истечении первой недели ухо не опухло, как это бывало раньше. Лишь сам Василий Петрович был глубоко опечален. Когда четвертого все вышли на работу, Василий уже сидел в кабинете за своим столом и что-то писал.

Семен Семенович, сдерживая свою улыбку, подумал про себя: — «Новая вакцина подействовала!»

Николай Тимохин

ХОДЯЧИЙ МЕРТВЕЦ

Сергей сидел за своим рабочим столом и увлеченно читал Конан Дойла. Конечно, с таким рвением, лучше бы взялся за учебники, к тому же скоро в мединституте зачет. Но в голове одни «пляшущие человечки» и не дающая покоя «пестрая лента». Скорее бы уж дочитать!

Молодой человек спал и видел себя «доктором Ватсоном». Когда закончится эта проклятая война, он обязательно станет криминалистом и будет раскрывать запутанные преступления, а пока...

Сергей учился в медицинском институте, когда началась война. Отца в первые же дни призвали на фронт бить немцев, а через полгода, вместо долгожданных писем от бати, в их семью пришло горе в виде похоронки. В ней сухо и коротко говорилось о боевых заслугах красноармейца, отдавшего свою жизнь за советскую Родину в боях с фашистской Германией.

Сергей сразу же пошел в военкомат и стал проситься на фронт, чтобы отомстить за отца. Но юноше сказали, что он должен сначала доучиться, стать врачом и тогда его призовут на защиту Отечества. Несмотря ни на что, институты продолжали работать даже в военное время, и люди нужны были не только на фронте.

Молодой человек снова погрузился в чтение: «Была жуткая ночь: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль ужаса. То кричала моя сестра...»

За спиной парня слышались чьи-то медленные шаги. Ощущение было такое, словно кто-то босыми ногами, крадучись, ступал по полу. Сергей твердо знал, что в столь позднее время в морге он находится совсем один, так как все врачи и санитары уже разошлись по своим домам.

— Показалось, — пронеслось в голове у парня, всецело находящегося во власти детектива, который он читал.

Сергей вновь взялся за увлекательную книгу: «Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протягивая вперед руки, словно моля о помощи...»

Не успев прочитать и половину страницы, Сергей

почувствовал, как на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Молодой человек резко вскочил из-за стола. Табуретка под ним отлетела в сторону.

Перед Сергеем стоял голый мертвец — худощавый мужчина, высокого роста! «Труп» смотрел на него «стеклянными» глазами и протягивал дрожащую руку. Его шамкающие губы тщетно пытались издать какие-то звуки. Он напоминал выброшенную на берег рыбу, судорожно хватающую ртом воздух.

Сергей автоматически молниеносно схватил валяющуюся на полу табуретку и, что есть силы, опустил ее на голову мертвеца. Табуретка развалилась на части, а труп тяжело рухнул на пол.

Медицинское образование и молодой организм поспособствовали юноше быстро «собраться» и «взять себя в руки». Сергей наклонился над мужчиной. Все правильно — не дышит. Точно — мертвый!

— Фу ты, черт! Больше никогда не буду на ночь, да еще и на работе читать Конан Дойла! — сам себе сказал молодой человек, пытаясь понять, как здесь мог оказаться один из его «подопечных». На ногу мужчины, лежавшего на полу без признаков жизни, парень разглядел бирку с номером.

Как и всем в годы войны, семье Сергея жилось туго. Мать работала на оборонном заводе. Уходила засветло, а приходила только спать. Парень устроился по ночам дежурить в городскую больницу, куда свозили раненых с фронта бойцов. Чтение рассказов Конан Дойла и пока еще небольшой опыт в медицине, привели парня на работу именно в морг, который размещался с боковой стороны длинного четырехэтажного здания больницы.

В большом помещении, вдоль стен в два ряда тянулись деревянные полки. На потолке висело несколько тусклых лампочек. А у входной двери стоял стол с настольной лампой и рядом — небольшая кушетка.

Сюда свозили неопознанные трупы со всего города. В ожидании заключения и решения врачей, здесь умерших временно распределяли по полкам и присваивали порядковый номер. Сергей не боялся мертвецов. И желал выработать у себя силу воли и твердость характера.

Вот и в ту ночь, когда молодой человек уже «отошел» от полученного стресса и отложил в сторону рассказы

Конан Дойла, он раскрыл рабочий журнал морга.

— Место Окончательной Регистрации Граждан, — пробормотал парень себе под нос, просматривая последние записи обо всех поступивших. На бирке мертвеца, так напугавшего Сергея, он рассмотрел номер сто восемнадцать.

Быстро найдя в журнале нужную страницу, молодой человек прочитал: «...N118... неизвестный мужчина, в возрасте 40-50 лет, был одет...» И дальше: «...без каких либо признаков насильственной смерти. На теле отсутствуют следы побоев или синяки». А в конце всей записи: «Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность».

Около десяти часов назад до описанных событий, на улице, почувствовав себя плохо, потерял сознание мужчина лет 40-50. И неизвестно, сколько бы он там пролежал, но его подобрали и доставили в

городскую больницу. А после определили в морг. В силу каких-то фантастических обстоятельств, среди ночи мужчина пришел в сознание. Но правда он никак не мог понять, где находится и почему без одежды. На какой-то полке. И кто вокруг него лежит?

«Номер сто восемнадцать» увидел в конце длинного помещения, в котором он лежал на нижней полке, свет. Он исходил от настольной лампы на столе, за которым сидел человек. Это было спасение!

Мужчина настолько ослаб, что не мог даже говорить. Из последних сил он, едва передвигая непослушные и затекшие ноги, направился к столу, за которым, склонившись над книгой, сидел молодой человек. Мужчина что-то попытался ему сказать. Но пересохшие губы не слушались. И тогда «номер сто восемнадцать» дотронулся до плеча сидящего...

Елена Думрауф-Шрейдер

ГАЛКА

Рассказ из цикла «Тогда была война»

Босоногая Галка, не оглядываясь по сторонам, бежала впереди мальчишек и думала только об одном: успеть вернуться до прихода матери! А еще молила бога, чтобы ничего не случилось с младшим братом. Его она оставила совсем ненадолго во дворе дома, а сама побежала за село с подругой Веркой и деревенскими мальчишками посмотреть на танки.

Огромные, наводившие страх машины, колонной стояли на опушке березовой рощи и дальше, до самого моста, за которым видны были терриконы угольных шахт. Танки были замаскированы большими ветками и срубленными молодыми деревцами.

— Это танки? — спросила изумленная Вера мальчишек. Они только утвердительно кивнули и затаились в кустах, жестом показав девочкам, чтобы те устраивались рядом.

— Это что, война теперь и у нас началась? — не веря своим глазам, пялилась на танки Вера.

— Видишь же! Тише, а то заметят, — строго сказал Котька, который жил по соседству с Галкой и был старше всех. Это он первый назвал Галю — Галкой, за ее длинные темные волосы.

— Так говорили же, что фашистов сюда не пустят! — не понимая, как могло такое случиться, не унималась Вера.

— Тише ты, раскудалась. Это же наши танки, а не фашистские, — еще строже приструнил ее Костя.

— А вдруг стрелять будут? Слышите, пацаны, надо убегать, — шепотом, испуганно озираясь, предложила Галка. Вера согласилась с ней.

Выбравшись из зеленого укрытия, они увидели, как в последнюю машину залез танкист в черном шлеме.

Тут же заревел двигатель, да так, что заложило уши. Напугались все, даже мальчишки и, боясь, что танки поедут в их сторону, со всех ног пустились бежать в село.

Галя влетела в открытую калитку и, как вкопанная, остановилась перед матерью.

— Ну, и где ты так долго была? — строго спросила Мария, удерживая за руку вырывающегося Андрейку. — У нас работы — через край, мы должны собираться в дорогу, а ты бегаешь неизвестно где!

— Мама, мама, мы видели танки! Там уже война начинается! Мама, она идет к нам? — заикаясь от страха, прошептала дочь.

— Не говори так, Галя. Войны у нас нет. Пока, — и голос Марии тоже дрогнул.

— Мам, а мам, а война, она какая?

— Страшная, доченька, страшная! Возьми Андрейку, идите в дом. И не выходите за калитку, опасно. Говорят, ночью за шахты должны перебрасывать какую-то технику. Хотя бы не стреляли, — увидев испуганные круглые глаза дочери, и непонимающий, бегающий взгляд сына, мать более спокойно добавила:

— Дети, мы должны уехать из села и, наверное, даже из Украины. Времени мало на сборы, а работы много, — и с расстроенным видом ушла к соседке Кларе посоветоваться, что важнее собрать в дорогу, а заодно спросить: не знает ли она когда и куда их повезут.

Клара, белокурая симпатичная немка тридцати пяти лет, как и Мария, была одинокой многодетной матерью, воспитывала пятерых детей. Вот уже три года они держались вместе, помогая друг другу делом и добрым словом. Их мужей в одну ночь забрали в тридцать восьмом и увезли куда-то. Сгинули мужики: никто о них больше ничего не слышал. Женщины боялись за них,

страдали от неизвестности. Но в душе каждая надеялась на возвращение мужа.

Соседка потрошила на кухне курицу. Увидев гостью, кивнула и пригласила сесть. Мария тяжело опустилась на стул и, вздохнув, начала разговор:

— Клара, как же я уеду? Лиза сутками работает на шахте, даже ночует там, а Варю отправили окопы копать. Я без них никуда не поеду.

— Маша, все наладится, сегодня еще не уезжать, просто нам надо быть готовыми к отъезду. Поэтому нужно собраться. Я решила, что фрицу не оставляю своих курочек, лучше перережу, зажарю и возьму в дорогу. И ты не расстраивайся, не переживай за девчонок раньше времени, они у тебя взрослые, не то, что мои голопузы. Вернутся домой, и как поступит приказ — тронемся. Говорят, Донецкую область эвакуируют, значит и нас скоро.

— Сегодня на шахте к концу смены баб много собралось. Мужики вернулись из забоя, простились с ними и сразу их на станцию увезли, а там на фронт. Вниз спустились одни молодые девчата, и мне завтра с утра заступать.

— Мащ, ты боишься, что не справишься?

— Нет, работы я не боюсь. Страшно. Бомбить начнут, я-то под землей, а младшие наверху останутся. А вдруг до бомбоубежища не добегут и погибнут?

Клара вытерла руки, подвинула стул и села рядом, положив голову на ее плечо:

— Да, подруга, у нас с тобой, если чем и осталось дожить, так это только нашими детьми. Остальное все не в счет. Дай Бог им здоровья. Ты не переживай, я со складов прибегу, всех в охалку — своих и твоих — и в бомбоубежище, — весело сказала Клара, стараясь поддержать соседку.

Проснувшись ночью, Галка содрогнулась от ужаса, не понимая, почему под ней трясется деревянная койка. От кошмарного воя, раздававшегося где-то совсем рядом с ее постелью, от скрежета и рокота моторов, лязга танковых гусениц она задрожала всем телом. Попытавшись сесть, упала с лежанки, и в темноте, замирая от этих зловещих звуков, ничего не видя, ползала по полу. Рыдая, забилась в угол за этажерку, с которой на голову упали книги старшей сестры и рамка с маленькой фотографией отца с матерью. Прижав кулаки к груди, не соображая, что происходит, она надрывно кричала и звала на помощь. Ей казалось, что пол, стены и весь дом трясет огромное страшное чудовище и что сейчас все рухнет. Задребезжали окна и звонко посыпались осколки. Внутри девочки все похолодело, и она выскочила из своего укрытия.

В разбитое окно светили фары танков и машин, проезжавших по улице. В ночи они казались глазищами огромного чудовища. Яркие ослепляющие лучи двигались по стенам комнаты, отбрасывали тени, которые казались длинными лапами страшилища, пытавшегося ее поймать.

Впечатлительная Галка нарисовала в своем воображении ужасную картину. Ей казалось, что еще мгновение и чудовище-война ворвется в дом. Обхватив голову, еще громче закричала:

— Мама, мамочка, ты где? А-а-а!! Мама, это чудовище! Это страшная война идет! Закрой окно, не пускай

ее в дом! Мама, я боюсь! Ма-ма! — и, потеряв от страха сознание, упала без чувств, не замечая, что перед ней на коленях стоит мать, держа на руках так же громко кричащего испуганного Андрейку.

После ночного переполоха в селе с раннего утра чувствовалось чуть ли не паническое напряжение. Все ждали — вот-вот загрохочет! Уж больно быстро линия фронта передвигалась вглубь страны.

Колхозное хозяйство пришлось ликвидировать. Коров, телят и четыре отары овец угнали в тыл, а все поголовье свиней пустили под нож. Табун лошадей перегнали в районный центр для нужд Красной Армии. На случай отступления наших войск, и если всем придется покинуть эти места, все было готово. Но с места не трогались, пытались как можно больше выдать угля на гора, работая круглосуточно в шахтах, и этим, хотя бы как-то, помочь нашей Армии. По ночам где-то совсем рядом что-то бухало, летали самолеты, но чьи — никто не знал.

На следующий день Мария, боясь, что дети попадут под обстрел, уходя на работу, наказывала: как услышат в воздухе гул самолетов или заводской гудок, бежать в бомбоубежище, оборудованное в школьном подвале. Когда в небе показались настоящие фашистские самолеты, Галка спокойно взяла брата за руку и спустилась с ним в погреб. Так что Клара, прибежавшая за ними, их не нашла. В подготовленном укрытии девочка-подросток заранее настелила соломы, принесла старенькое одеяльце, табурет, служивший столом, карандаш с газетой, деревянные игрушки для пятилетнего брата, сделанные отцом, маленькую свечку и припрятала хлебushка.

— Халя, (так называл ее братишка) а мы не побежим туда, где мама сказала сховаться?

— Не-а. Чо туда-сюда бегать? Самолеты прилетят и улетят. Ты же помнишь: тогда, ночью, шуму было много, а ничего не случилось.

— Но мама сказала бежать к школе, в подвал.

— Цыц, малышка, туда далеко. Если хошь, беги сам.

— Халя, я сам боюсь, мэнэ там убьют, — захныкал Андрейка.

— Вот сиди здесь и маме ничего не говори. Я знаю, с нами ничего не случится, — и, чиркнув спичкой, зажгла свечку.

Начали гудеть шахты, завывла сирена воздушной тревоги, призывая всех скрыться в бомбоубежище. Все эти страшные звуки говорили о том, что фашисты наступают, и оборона может быть прорвана.

Через пару дней налеты участились. Теперь уже не несколько раз в день приходилось спускаться в бомбоубежище и часами проводить там время, которое можно было использовать на сборы. Уверенная в своем укрытии, Галка к школе не бегала и не пускала брата, постоянно громко повторяя: «Мне не страшно! Нас не убьют!» В результате пережитого ночного страха и ужаса у нее выработалось чувство интуитивного самосохранения. Она чувствовала себя в погребе защищенной. И это ощущение безопасности только окрепло, когда через несколько дней в школу попал снаряд. Верхнюю часть здания разнесло в щепки, вход в бомбоубежище завалило. Погибли трое детей и школьная уборщица тетя Глаша.

Утро 19 сентября 1941 года было по-особому шумным. Галка проснулась от того, что мама громко разго-

варивала с вернувшейся накануне домой Варварой. В воздухе приторно пахло жжеными перьями. Галка сразу вспомнила, как мама вчера сказала, что если не будет обстрела, то она на смене, а они с сестрой должны копать картошку. Но мама дома, и Варя ее не разбудила. Значит, что-то случилось. Прислушалась: самолеты не летали, нигде не бомбили, не слышно выстрелов и шахтерский гудок молчит. Может быть, кончилась война?! И Галка с улыбкой на лице выбежала на крыльцо.

На улице мама на высоком костре обжигала куриные тушки, а Варя в ведре мыла выкопанную картошку. Они громко разговаривали через забор с тетей Кларой. Увидевшей эту картину Гале сразу стало понятно: война не закончилась, она подкралась совсем близко, и скоро им придется от нее убежать.

А пока мама их все-таки послала на огород копать картошку. Кто ее знает, войну эту? И что еще будет? А зима все равно настанет!

Самолеты появились внезапно, даже никто не понял, откуда в ясном небе и почти без звука возникли «юнкерсы». Они летали низко, и не бомбили здания, а стреляли в прохожих на улице, во дворах, возле колодца, принуждая всех к бегству.

— Ло-жи-те-сь! Дети, ложитесь! — кричала Мария, бегущая к огороду, где Галка с Варварой копали картошку, а Андрейка выбирал самые крупные клубни и скидывал в кучки. — Прячьтесь, — махала она руками, показывая на землю. Сообразив в чем дело, девочки упали на землю, и в небе повисло злобное рычание низко летящего самолета. Добежав до них, Мария сбила с ног сына и накрыла его своим телом. Когда самолет выпустил очередную пулеметную очередь, мать скомандовала детям бежать к дому и, схватив Андрейку на руки, оглянувшись на дочерей, Варя подскочила и потянула сестру за руку, но та, свернувшись, кричала от боли.

— Мама, Галка ранена, — и, увидев, как по ноге сестры течет кровь, она упала возле нее на колени.

— Сынок, в погреб, беги в погреб, — Мария подтолкнула дитя к дому, а сама опустилась перед дочерью. — Галя, где? Доченька, где больно?

Мать откинула в сторону лопату, лежащую на младшей дочери, подняла разорванное платье и увидела воткнувшийся в ногу конец деревянной ручки от лопаты.

— Слава Богу, пуля попала не в тебя, в черенок, — мать отбросила щепки и, подняв дочь на руки, крикнула. — Скорее, в погреб, он сейчас вернется!

Когда самолет развернулся, обстреляв другую сторону села, и в очередной раз пролетел над их домом, они уже сидели в погребе. Обнявшись, дрожа всем телом, смотрели на кровью измазанное тело и платье Гали, и это наводило ужас.

— Халя, а Халь, тэбэ больно? — жалобно попытался брат у плачущей сестры, которой мама перевязывала своей нижней сорочкой кровоточащую рану.

— У-гу, — шмыгала она носом.

— Это хорошо, что лопата на тебя упала, а пуля в черенок угодила. Считай, он тебя спас. Если бы не черенок, ты здесь не так пицала бы, — прижав к себе сестру, шептала ей на ухо Варвара.

— Варь, а тебе что, не страшно? — подняв на нее влажные глаза, спросила Галка.

— Да. С таким страхом не поспоришь, — призналась шестнадцатилетняя девушка. — Жить-то еще хочется,

— и сильнее прижала к себе восьмилетнюю сестренку, стараясь ее согреть.

— Мам, а куда мы из нашей Гончаровой Балки уедем? Война, она ведь везде идет? — размышляя, спросила Варя.

— Не знаю, доченька, куда нас повезут. В эшелон посадят и в тыл, наверное. Завтра рано утром на станции надо быть, а там с божьей помощью все обойдется. Вот только бы с Кларой не разминуться. Варвара, слышь, помочь с ребятей ей надо.

— Хорошо, мам, конечно помогу.

Поздно вечером, увидев, что Мария еще возится во дворе, Клара подошла к забору и окликнула ее:

— Маш, слыхала? Петро Соловейко домой вернулся на костылях. Горе-то какое! Без ноги остался. Он пока первый искалеченный войной солдат из нашей деревни, который вернулся домой с фронта.

— Упаси, Господи, — и обе перекрестились. — На костылях, без ноги, да живой, а его брат Тарас убит. Ксения похоронку получила, так третий день слезами обливается.

— Кравчук Павло погиб, Леня Зацепя, Шумейко Иван. И на Антоненко Григория похоронку принесли.

— Демченко Семен, и со старой улицы мужик-па-стух...

— Чеботарь Василь.

— Во-во! Не слишком ли много похоронков для одной нашей Балки? А конца войне еще и не видно.

— Кто его знает? Может, самое страшное еще впереди? Говорят, в станице сотни не разосланных похоронков лежат. Как ты думаешь, и наших мужиков на войну отправили?

— Конечно, отправили. Кто их в тюрьмах держать будет? Хоть бы попрощаться домой отпустили.

— Ладно, не горюй. Бог даст, свидимся. Маш, ты уж меня завтра не бросай, а то с моей оравой я отстану где-нибудь. Твои девочки взрослые, может, где и за моими приглядыт.

— Лиза остается работать на шахте, а Варенька будет рядом, она поможет.

— Господи, помоги сохранить детей наших, — и, получив от Марии кивок в знак согласия, Клара отправилась домой. Там, на печке, тихо спали ее дети: Костя — двенадцати, Настя — восьми, Паша — пяти лет и очень смешливые трехлетние с родинками и ямочками на щеках близнецы Анечка и Ванечка. Они родились через месяц после того, как их отца забрали в НКВД.

Рассвело. Мария и трое ее младших детей взяли приготовленные узлы, и вышли за калитку. Возле каждого двора стояли люди, молча прощаясь со своими домами. Подойдя к Кларе, державшей на руках Анечку, она подняла Ванечку, осмотрела всех и сказала: — «Ну, с Богом!»

Они присоединились к медленно двигающейся по улице колонне. В конце села подоспели еще пешие с других улиц, и огромный людской поток, состоявший из детей, женщин и стариков расширился, не вмещааясь в проезжую часть дороги, которая вела на станцию.

Держась крепко за руки, Галка и Настя слушали наказ Марии:

— Все поняли? Разбегаться по двое подальше от дороги. Лечь и не двигаться, пока самолеты не улетят. По-

том всем собраться возле меня.

Еще последние дома не скрылись из виду, как по колонне пролетел громкий крик: «мессеры!» — и все испуганно завертели головами.

Появились низко летящие фашистские самолеты, пронизывающие своим ревом воздух. Галка почувствовала, как по телу пробежал холодок. Но холодно ей не было, дрожала только нижняя губа. Повторилось чувство беспомощности, испытанное в ту памятную ночь, когда по селу шла танковая колонна. В душе все затрепыхало и она, ища какой-нибудь защиты, крепче сжала руку Насти. «Мама!» — пролетело у нее в голове, но матери рядом не было. Девочка лихорадочно завертела головой, ища платье в синий мелкий цветочек.

Все в панике бросились врассыпную, толкаясь, сшибая друг друга с ног. Послышались автоматные очереди и в небе повисли беспомощные крики страха. Устрашающее чувство боязни смерти и опасение потерять близких навалилось на разбегающуюся в стороны толпу. Со свистом летели вниз, а потом оглушительно взрывались бомбы, приводя в ужас детей и матерей.

Запнувшись, Галка упала на дорогу, выпустив руку Насти. Она чувствовала, как кто-то споткнулся об нее и упал. Потом наступили сапогом на руку, затем — на обе ноги. Не стерпев боли, девочка заплакала. Совсем рядом раздался взрыв, и земля под нею задрожала. Галя поднялась было, но от толчка в спину снова упала лицом в пыль, а прямо на нее повалился взрослый человек, крича и корчась от боли.

— А-а-а! Ма-ма! Пустите меня! — кричала она что есть силы, стараясь столкнуть старика, чтобы убежать в сторону от дороги, но слышала, как он сквозь зубы процедил:

— Лежи девочка, лежи, — и громко застонал, положив свою руку прямо на ее голову.

— Ой! Мне больно. О-о-ох! Я не могу дышать, — пытаясь освободиться, чуть слышно стонала девочка, но новые взрывы оглушили всю округу.

Еле втягивая воздух в легкие, какое-то время Галка так лежала и даже не пыталась шевелиться. Но вот кто-то сильно потянул ее за руку, и стало легче дышать. Тяжелое мертвое тело сдвинули с нее, слышались надрывные всхлипы, а потом женский крик:

— Варя, Варька, вот она. Жива, кажись, — и плачущая женщина склонилась над погибшим стариком. Им оказался Веркин дед Тарас, закрывший Галку своим телом. И лишь благодаря ему она осталась жива.

Подбежала Варя, и, вцепившись в Галкину руку, потянула ее, крича, как сумасшедшая:

— Галя, Галя, скорее, мамка тебя видеть хочет. Бегим, ну, ты можешь скорее? Торопись, а то не успеешь.

Ничего не понимающая Галка еле тащилась, с трудом передвигая онемевшие ноги, прихрамывая, переступая через лежащих на земле людей. «Вон Верка, вон Пашка, а вот возле огромной ямы лежит тетя Клара с Аннушкой. А это Соловкина тетка Фрося с Васильком, а рядом — окровавленная Настя. На-с-тя!» И Галка, как будто прозрев, поняла, что случилось и почему столько односельчан лежит на земле.

Варя резко остановилась и дернула сестру за руку к земле. Галка упала на колени и оказалась перед лицом лежащей матери, которая только и успела взглянуть на нее и произнести «Халочка, жива...», как глаза ее закры-

лись. Казалось, Галка перестала воспринимать реальность. Подняв в ужасе руки к лицу, она, не шевелясь, смотрела широко раскрытыми глазами на переставшую дышать окровавленную мать. Рядом, измазанная грязью и кровью, рыдала Варя.

— Андрейка, — как будто не в себе, вдруг произнесла Галка. — Варька, где Андрейка? — и, заметив ее жест, увидела у ног матери мертвого братишку с оторванными ножками. От ужаса она оцепенела. Ей хотелось зажмуриться, но не получалось. Наоборот, от охватившей паники, глаза широко распахнулись, затряслась голова, перехватило дыхание. Пальцы рук стали судорожно дергаться, и она не своим голосом закричала.

— А-а-а-а! Ма-ма! Андрей-ка! Я не хо-чу! — качаясь из стороны в сторону всем телом, рыдала она, а потом повалилась на бок и прижалась к плачущей старшей сестре.

Вскоре приехали солдаты на грузовиках. Они и сообщили, что станцию тоже разбомбили и туда нельзя. Потом военные стали копать огромную могилу. Над полем слышался дикий плач, подобный вою волчьей стаи. Люди, рыдая, все еще искали потерянных родных и близких. Сквозь этот гул Галка слышала голос Кости, который звал Ванечку. Осознав, что лежащие на земле соседи, которых она видела, когда бежала за Варей, тоже мертвы, Галка вскочила на ноги и огляделась. Сквозь слезы различила фигуру Кости, который тащил окровавленное тело Пашки. Подбежав к нему, она остановилась в шоке от увиденного. В ряд лежали тетя Клара, Анечка, Настя и Пашка. Рот ее на вдохе остался открытым от потрясения. У Котки дрожали подбородок и губы, но он по-мужски держался и не плакал.

Тяжело всхлипывая и глотая слезы, Галка шепотом проронила:

— Коть, нашу мамку и Андрейку тоже убило.

Взяв ее за руку и притянув к себе, он отвернулся и выдал из себя дрожащим голосом:

— Ванечки нет нигде, пошли, искать надо, пока хоронить не начали. Может, жив еще? — и его плечи задрожали. Но не успели они двинуться с места, как снова послышался гул в небе и солдаты закричали:

— Во-здух! Во-здух! Все в лесок! Бегите, бегите в лес!

Оставшиеся в живых взваливали на себя раненых и, кто бегом, кто ползком, тащили их к лесу. Галка оглянулась на сестру, которая что-то кричала ей и махала рукою. Но ее крепко держал за руку Костя. Она потянула его за собой. Пробежав несколько метров, они спрыгнули в ближайшую воронку. Галка высунулась, но Вари на том месте уже не было. И больше они не виделись. А Лиза попала в плен и их, восемь молоденьких девушек, фашисты расстреляли.

Так, держась крепко за руки, Котка и Галка скитались по разрушенной стране, голодали и однажды, зимою сорок четвертого, чуть не замерзли в копне сена. Галка не заснула сама и не давала спать Косте, постоянно стуча по его ноге своим дырявым валенком, рассказывая, какие вкусные галушки умела варить ее мамка и что сейчас бы она даже жареный лук бы съела. Подобрал их старик и забрал с собой в партизанский отряд, где они и оставались до самого конца войны.

Потом учились: Костя — на машиниста, Галка — на

медсестру.

Влюбались они друг в друга еще в детстве, потом поженились, воспитали троих детей. Не одиноки они, есть уже две внучки и пять внуков.

Но однажды, в 1988 году, в канун Дня Победы по телевидению показывали документальный фильм о послевоенных детских домах. Увидев на экране маленького Ванечку, Галина закричала в открытое окно Константи-ну, работающему в саду:

— Костя! О Господи! Костя, скорее, скорее, Ванечку по телевизору показали, — и, разволновавшись, без сил упала в кресло, схватившись за сердце. Кадр сменился, на экране мелькали другие детские лица. А они до конца передачи вглядывались в каждого ребенка, но так и не увидели Ванечку.

— Галка, ну как ты могла его узнать на экране за одно мгновение? — допытывался муж. — Сколько лет прошло? Лица теперь даже не вспомнить.

— Котя, он это, он! Поверь! Продолговатая родинка

и ямочки на щеках, разве можно спутать? Котя, так красиво больше ни один ребенок не улыбался. Ванечка это! Чувствует мое сердце Ванечка живым остался! — и увидела, что у мужа, как когда-то, предательски задрожали губы и подбородок.

— Неужели жив? Это сколько ему сейчас? Уже пятьдесят?! — прошептал старший брат и его глаза заблестели.

Написали письмо на телевидение. И вскоре получили ответ с перечнем детских домов, которые были в этой передаче показаны, с указанием — в каком году и где снимали их на камеру. Разыскали. Нашелся мальчик по имени Ванечка, но только с другой фамилией — Солдатов. Свою — мал он был — не помнил. Спасли его тогда и привезли в детский приют солдаты. Вот и получил Ванечка такую хорошую, надежную фамилию — Солдатов.

Низко кланяемся Вам, солдатам той ужасной войны!

Публицистика, Очерки, Эссе

Александр Сидоров

«БЛАЖЕННОЕ НАСЛЕДСТВО» О. МАНДЕЛЬШТАМА

*Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны...*

В конце 1973 года в Советском Союзе наконец-то вышла в серии «Библиотека поэта» книга «Стихотворений» Осипа Мандельштама. Из-за ограниченного тиража (всего 15. 000 экземпляров) книга сразу же стала библиографической редкостью и в СССР и за рубежом. До этого последний сборник стихотворений Мандельштама в Советском Союзе вышел без малого полвека тому назад. Известно, что долгие годы Мандельштама не печатали, поэтому издание сборника его поэзии в «Библиотеке поэта» явилось большим и счастливым событием.

Хочется напомнить основные вехи творчества Осипа Мандельштама.

Анна Ахматова в своих воспоминаниях приводит рассказ поэта о выпуске его первого сборника: хозяин типографии, где юный Мандельштам издал на собственные деньги сборник стихов «Камень», поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Хотя высказывание это и анекдотично, но по существу оно оказалось верным.

Мандельштама порой обвиняли в запутанности и бессмыслице даже такие представители поэтической элиты, как Гумилев и Цветаева. Обвиняли, но тут же и оговаривались, что оба поддавались «магии каждой строчки» его поэзии, по словам Марины Цветаевой.

Те, кто обвиняют Мандельштама в бессмыслице и запутанности, может быть ищут в поэзии соответствия с «пересказом», что Мандельштам считал «вернейшим признаком отсутствия поэзии». Мандельштам сам сказал, как его стихи надо читать: «Лучшие слова в стихотворении, — говорил он, — не произнесены. Их нужно найти тому, кто вас слушает... Поэт дает только ассоциации, и в этом вся сила его воздействия».

Мандельштам — трудный и сложный поэт. И поэт большого диапазона. Его лирика полна отзвуков чужих певцов — Эллады, Рима, Византии, Италии, Франции, Англии, Шотландии... И он требует от читателя как бы отгадывания этих отзвуков. В своем эссе «Разговор о Данте» он говорил о важности исполняющего понимания поэзии, противопоставляя его пассивному, воспроизводящему пониманию. Такому исполняющему пониманию подлежит, например, его известное стихотворение «Соломинка», где дается целый рой ассоциаций, связанных с именем бывлой петербургской красавицы Саломеи Андрониковой, и читателю надлежит открыть те «лучшие слова», которые скрыты за этими ассоциа-

циями.

Но рядом с ребусной, подлежащей разгадыванию лирикой у Мандельштама есть и ясные, доступные с первого прочтения стихи, часто писавшиеся в то же время, что и зашифрованная поэзия. В ранней статье поэта «Заметки о Шенье» есть такое высказывание: «Что такое поэтика Шенье? Может, у него не одна поэтика, а несколько в различные периоды или в тот же период, но в «различные минуты поэтического сознания?» Такое соображение о «нескольких поэтиках» в различные периоды или в тот же период, но в «различные минуты поэтического сознания» можно отнести и к творчеству самого Осипа Мандельштама.

Совсем молодым Мандельштам жил некоторое время в западной Европе.

О его пребывании во Франции мы знаем из воспоминаний Михаила Карповича. Карпович познакомился с Мандельштамом в парижском кафе студенческого квартала 24 декабря 1907 года. Они часто встречались до весны 1908 года.

Карпович с сожалением отмечает, что не сохранил в памяти ни одного из стихотворений Мандельштама парижского времени, когда в поэте, по его словам, была «юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущиеся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем творце «Камня» еще не было», говорит Карпович.

И вот одно стихотворение Мандельштама той далекой парижской весны, помеченное «Париж, 20 апреля 1908». Отличается ли оно в действительности так резко от его последующего творчества?

*О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчаная отмель — добыча вечернего вала,
Как невеста белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы
И на дно опускались и тихое дно зажигали,
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали;
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый,
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.*

Стихотворение о финском озере, действительно, пожалуй, наполнено, как и автор его в то время, «романтической восторженностью». Многие образы его навеяны символизмом и вызывают в памяти стихи «великих душеловцев», как называет символистов в книге «Воспоминания» вдова поэта Надежда Мандельштам.

Озеру «Сайме» посвятил несколько стихотворений предтеча русского символизма Владимир Соловьев («На Сайме зимой», «Сайма в полдень», «Сайма в бурю», «Сайма на другое утро»), и мандельштамовские стихи в значительной мере перекликаются с этими стихами Владимира Соловьева. И Мандельштам, и Соловьев (в стихотворениях «На Сайме зимой» и «Сайма на другое утро») употребляют в первых строках риторическое обращение, создающее эмоциональное настроение. Соловьев начинает эти стихотворения: «Вся ты закуталась шубой пушистой» и «Что этой ночью с тобой совершилось? / Ангел надежд говорил ли с тобой?» Эти строки, как и обращение Мандельштама к озеру — красавице, говорят о культе красоты, о мистической любви.

Оба автора окрашивают «Сайму» в серебристо — светлые тона. Отмель мандельштамовского озера «белеет, как невеста», берег его «седой и кудрявый», над озером встает клубящийся «белый пар». Той же палитрой пользуется и Соловьев. Его стихотворение «Сайма в полдень» начинается словами «Этот матово — светлый жемчужный простор», а в стихотворении «Сайма зимой» встречается «белая тишь» и обращение: «Вся ты в лучах, как полярное пламя».

Но Сайма у Мандельштама окрашена и огненно — красными тонами — «пурпур водного стана», «струилась потоками лавы». Здесь уместно сравнение с Бальмонтом, у которого есть стихотворение, озаглавленное «Вечер», где поэт говорит об «озере тихом и сонном», на котором «качается огненный лик». А в другом стихотворении, «Жребий великого», Бальмонт рисует картину захода солнца над водным пространством: «Багряный солнцекруг скользил дугой

заката / Над предвечернею глубокою водой».

В стихотворении Мандельштама встречаются многие слова — образы из символистского «инструментария», как, например, «челн» («чуждый чарм черный челн» Бальмонта), «нега», «пустынные скалы». «Колыбельная нега» у Мандельштама перекликается с «чарующей негой» у Владимира Соловьева в стихотворении «Сайма в полдень». В бальмонтовском «Вечере» тоже есть образ «неги»: «На озере негой объят».

Но «Красавица Сайма» говорит и о вполне самобытном даре поэта. В

стихотворении о лесном озере слышатся песни и чужих певцов, которые получил в блаженное наследство молодой поэт. Над его озером звучит и «старинная песнь Калевала», финский народный эпос. Но стихи о Сайме относятся к «предыстории», к тому времени в жизни Мандельштама, о котором у нас очень мало сведений. «История» же начинается в 1910 году, когда первые стихи поэта появились в журнале «Аполлон» и сразу же привлекли к себе внимание.

Известно, что с этого времени у Мандельштама завязывается близкая дружба с Гумилевым, который в это время вел в «Аполлоне» отдел «Письма о русской поэзии». Мандельштам увлекается «акмеистическими» теориями Гумелева и примыкает к группе акмеистов. Три

больших поэта, вышедшие из этой группы —

Гумилев, Ахматова и Мандельштам — пошли впоследствии совершенно разными творческими путями.

Творческий путь Мандельштама делится на четыре отчетливых периода:

1908 — 1915 (сборник «Камень»).

1916 — 1920 (сборник «Тристана»).

Стихи 1921 — 1925 годов.

Лирика 30-х годов, несобранная в книги стихов при жизни поэта и в большей части при жизни его неопубликованная.

Заглавие первой книги «Камень» вполне соответствовало акмеистическим требованиям осязаемости и плотности стиха. Таким образом оно приобретало и символический смысл: под ним понималось слово — основной материал поэта. В стихотворении Notre Dame Мандельштам сопоставляет поэзию и зодчество:

*Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.*

Источники прекрасного молодой Мандельштам видел в «рукотворных» памятниках, воздвигнутых человеком на земле; это — готические соборы с летящими ввысь шпилями и кружевом каменных орнаментов, православные храмы с маленькими легкими телами, величественные петербургские здания.

Петербург занимает особое место в творчестве Мандельштама. В архитектуре своего родного города он видит, как и поэты восемнадцатого века, печать вечного города Рима. Так же как неоклассицисты допушкинского времени, Мандельштам, которого часто называют классицистом, не чувствует двойственности и фантастичности Северной Пальмиры, он воспевае красоту и гармонию этого города.

Многие стихотворения Мандельштама как бы написаны на палимпсесте — пергаменте, которым в древности пользовались несколько раз, стирая написанное ранее. Прошлое в его творчестве просвечивает сквозь настоящее, так как более древние письмена вдруг открываются в старинной рукописи.

В стихотворении о соборе Парижской Богоматери, например, поэт воскрешает прошлое Парижа, время римского завоевания, которое принесло с собой первые дороги и мосты, а также культуру и закон в поселок, Лютеция — будущий Париж.

В двух строках поэт рисует прошлое города:

*Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика...*

В дерзостной направленности ввысь готической архитектуры поэт видит одну из первых человеческих попыток устремления к небу. Христианский и египетский миры взаимодействуют в «стихийном лабиринте» колонн, летящих подпорок, шпилей, башенок и арок собора Парижской Богоматери, которые теснятся в третьей строфе стихотворения:

*Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.*

Древние письма открываются также в произведении о другом всемирно известном храме, в стихотворении «Айя-София»:

*Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Весь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи подвешен к небесам.*

*И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.*

Здесь сквозь видение Софийского собора проступает более древний храм Дианы Эфесской, из которого был взят мрамор для постройки константинопольского храма.

Таков сборник поэта «Камень» с преобладающей в нем архитектурной темой, которая, по словам его вдовы, «связана с задачей человека на земле — строить, оставить осязаемые следы своего существования, то есть побороть время и смерть».

Второй сборник «Тристиа», как и первый, насыщен отзвуками древних культур и песнями их певцов, в особенности культуры эллинской. Центральное место в нем занимает Петербург. Многие произведения относятся к войне и революции.

Есть в книге и цикл стихов, которые отразили пребывание Мандельштама в Крыму во второй половине десятых годов, часто эти «крымские» стихотворения переплетаются с эллинскими мотивами.

Петербург в «Тристиа» — это уже не величественный город с печатью Рима, который своими гармоничными постройками учил молодого поэта в «Камне», что «красота не прихоть полубога, // А хищный глазомер простого столяра».

В известном стихотворении, написанном через год после революции, поэт оплакивает свой город:

*На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.*

*На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты звезда — воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.*

Смерть своего города поэт, определивший акмеизм как тоску по мировой культуре, воспринимает особенно трагично. Его повторяющийся эмоциональный рефрен о гибели Петербурга и звучит, как плач хора античной трагедии. Город показан во власти угрожающих ему стихийных сил, над ним несется фантастически — кошмарный корабль — чудовище с распростертыми кры-

льями.

Однако, в стихотворении есть и отрицание смертности города, которое до сих пор, по-видимому, не было замечено исследователями. Во-первых, Петербург носит наименование Петрополя и, таким образом, приобщен к вечным городам.

Во-вторых, в последней строфе Петрополь уподобляется звезде, звезды же бессмертны. Петербург, таким образом, становится бессмертным; умирает только отражение звезды, а Петрополь — звезда будет жить вечно.

Утверждение, что Петербург — Петрополь переживет апокалипсическое для России время отражает в какой-то мере отношение Мандельштама к революции, как к этапу исторического развития. Но слишком страшен революционный Петербург в «великий сумеречный год», как сказал поэт в стихотворении, написанном, тоже в 1918 году. И вот, «чуя грядущие казни, от рева событий

мятежных // Я убежал к nereидам на Черное море» — говорит он об этом времени.

Пребывание на Черном море, которое поэт связывал с морем Средиземным и Элладой, дало ряд лучших его стихотворений. В противоположность «петербургским» стихам, они окрашены радостной тональностью. Наиболее отчетливее, пожалуй, радость звучит в стихотворении «На каменных отрогах Пиерии»:

*Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цинады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передружили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.*

В своей второй книге воспоминаний Надежда Мандельштам называет эту эллинскую идиллию «нашими брачными стихами». Ко времени написания этого стихотворения относится ее встреча и близость с поэтом. «Перед тем как написать стихи о свадьбе и черепахе, — пишет вдова поэта, — Мандельштам перелистал у меня в комнате томик переводов Вячеслава Иванова из Алкея и Сафо... Из переводов и пришел, пестрый сапожок...» Таким образом, стихи возникли на стыке двух впечатлений — чтения Сафо и личного счастья.

В этой радостной картине эллинской весны чувствуется большая любовь ко всему земному. Античное прошлое здесь показано как настоящее, как живущее в наше время, и песни древних певцов окрашены живым чувством — это не холодная неоклассическая стилизация восемнадцатого века, против которой поэт сам протестовал (см., например, его статью «Заметки о Шенье»).

Просветленные и идиллические стихи «Тристиа» — это, в какой-то мере, последняя дань Мандельштама прекрасному, источники которого он видел в классическом прошлом, оставленном ему в наследство древними певцами, «слепыми лирниками», как он сказал в начале стихотворения об эллинской весне. В его творчестве 20-х годов звучит усталость, безнадежность, ужас перед развертывающимися событиями. «Блаженное наследство» древних певцов, так щедро питавшее его раннее творче-

ство, не приносит уже ему утешения.

*И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй —*

говорит поэт в стихотворении, написанном в 1922 году.

Стихи 1921 — 1925 г.г., которые вдова поэта называет «оборванной и задушенной книгой начинаются строкой «Нельзя дышать, и твердь кишит червями», и эти слова как бы создают тематический лейтмотив для творчества этого периода, состоящего всего из двадцати стихотворений.

Вряд ли у какого-либо другого русского поэта было такое острое ощущение того времени, когда, по выражению Ахматовой, «приближался не календарный —

// Настоящий Двадцатый Век», как у Мандельштама. Хорошо известно его стихотворение «Век», написанное в 1923 году, полное мучительных мыслей и предчувствий:

*Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?*

По словам Мандельштама, «земля гудит метафорой». «Век» и построен на развернутой метафоре «век» — «зверь». Может быть, сравнение, в какой-то мере, подсказано и звуковой близостью слов: век, зверь. Сравнение века со зверем, однако, подсказывалось самими событиями.

В «Веке» звучит типичное для творчества Мандельштама стремление к синтезу старого и нового, но к этому мотиву примешивается новый зловещий мотив кровавого жертвоприношения. Позвонки века-зверя могут быть склеены только кровью.

*Чтобы вырвать жизнь из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать —*

это еще одна попытка связать минувший век и нынешний при помощи искусства.

Но век поэта уничтожает жизнь — Снова в жертву, как ягненок, / Темя жизни принесли / — и гибнет сам — Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век... /.

В новом советском однотомнике было впервые напечатано заключительное восьмистишие «Века», восстановленное поэтом, согласно примечаниям, в 1936 году. Вот оно:

*Кровь — строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горячей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.*

Две начальные строки этого восьмистишия являются повторением строк пятой и шестой восьмистишия первого. Очевидно поэт хотел усилить темы гибели и агонии таким повторением.

Большинство стихотворений 1921-1925 годов недвусмысленно, хотя и в затрудненной ребусной форме, говорит об отношении поэта к действительности того времени. Даже в последних воронежских стихах, когда Мандельштаму приходилось жить в совершенно нечеловеческих условиях, нет того метафизического ужаса перед временем и веком, как в произведениях этого периода. В стихотворении «Нашедший подкову», написанном в 1923 году,

поэт говорит:

*Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.*

Подобно Ахматовой, у Мандельштама был долгий, почти пятилетний период поэтического молчания. Стихи вернулись к нему в 1930 году. Для лирики тридцатых годов характерны как бы две тональности: с одной стороны, в ней страх, и отчаяние, с другой — большая любовь к жизни, выраженная в таком оксиморонном сочетании, содержащемся в последней строке такого четверостишия:

*Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. —
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.*

Может быть, как бегство от этой «душной», «предгрозовой» атмосферы перед арестом поэта в 1934 году были написаны в «ящик стола» «Восьмистишия», цикл состоящий из одиннадцати отрывков. В них поэт далек от происходящего вокруг и обращается к темам эстетики, философии и творчества — своего собственного и тех чужих певцов, блуждающие сны которых он получил в наследство. Теме взаимосвязи творчества, природы и жизни посвящено седьмое восьмистишие:

*И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.*

Близкую мысль мы встречаем в лирике А.К. Толстого: «Тщетно, художник, ты мнишь, // Что творений своих ты создатель...»

Известно, что непосредственной причиной ареста Мандельштама послужили его пресловутые стихи о Сталине. До этого поэту делалось много всяких предупреждений, но эти стихи, по-видимому, переполнили чашу терпения власть имущих. Думается, что в аресте Мандельштама есть некая ирония судьбы — поэт, которому так часто ставили в упрек отчужденность от действительности, погиб как раз за описание этой самой действительности:

*Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны...*

Вдова поэта считает, что Мандельштам сознательно избрал себе род смерти, используя «безмерное», почти суеверное уважение к поэзии среди советской верхушки. «Чего ты жалуешься, — говорил он жене, — поэзию уважают только у нас — за нее не убивают».

Смерть за поэзию началась в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая, когда Мандельштам был в первый раз арестован. После короткого следствия поэт был выслан в Чердынь, а через несколько месяцев ему было разрешено переехать в им самим выбранное место ссылки — Воронеж. Здесь родились три «Воронежские тетради», составляющие последний этап творчества поэта. Отметим, что лучшие стихотворения воронежского периода вошли в советский однотомник.

Есть в «Воронежских тетрадях» подчеркнута биографические стихи — одни, напоминающие кошмары Гойи, но есть и поражающие спокойствием и бесстрашием обреченности:

*Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой — подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.*

*В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те
И сладкогласный труд безгрешен...*

В воронежские стихи впервые широко вошла в творчество Мандельштама среднерусская природа с ее просторами — с черноземными полями, с морозными зимами —

*В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, ploится без морщин
Равнины дышащее чудо.*

*А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб безгрешен.*

В Воронеже поэт снова улавливает «эолийский чудесный строй», почти утерянный в двадцатых годах. В следующих стихах он совершает так же, как в своем раннем творчестве прогулку по кругозору античности:

*Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?*

*Тому не быть — трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы,*

*Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила — грузчика, Софокла — лесоруба.*

Некоторые литературоведы считают «Воронежские тетради» вершиной творчества Мандельштама; так, например, определяет их Н. Струве во вступительной статье к третьему тому американского издания произведений поэта. Думается, однако, что такая оценка воронежского творчества слишком высока. Хотя и воронежский период дал немало стихотворений, свидетельствующих о том, что даже нечеловеческие условия жизни не могли сломить дар поэта, все же дар этот был надломлен. Некоторые стихотворения представляются как бы обломками этого дара. Кроме того, многое в воронежской лирике фрагментарно, как бы недоработано.

Удивляться, конечно, этому нечего. Удивляться можно только тому, что поэт мог все-таки продолжать писать в этой обстановке, в которой ему пришлось жить.

Больной (в последний год в Воронеже он уже не мог из-за одышки один выходить на улицу), совершенно лишенный средств к существованию, живший на скудную помощь немногих оставшихся друзей, он продолжал работать, потому что — как писал в начале 1937 года, последнего своего творческого года —

*Народу нужен стих таинственно — родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою каштановой волной —
Его дыханьем умывался.*

В этом же 1937 году, окончив срок ссылки, поэт вернулся с женой в Москву, но ему было там отказано в прописке. Бездомные и нищие Мандельштамы кружили год в стокилометровом радиусе вокруг запретных для бывших ссыльных городов.

Весной 1938 года им была выдана путевка в дом отдыха. Там в ночь с первого на второе мая поэт был снова арестован. И из новой ссылки не вернулся. Последние его дни, судя по рассказам очевидцев, были ужасны, точная дата смерти неизвестна.

Как и его друга акмеистских лет Николая Гумелева, смерть застала Осипа Мандельштама «посередине странствия земного» — так задумал назвать свою очередную книгу стихов Гумилев перед своим арестом и расстрелом.

К обоим поэтам могут быть отнесены строки третьего члена славной акмеистской триады Анны Ахматовой:

*Так просто можно жизнь покинуть эту.
Бездумно и безбольно догореть,
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.*

*Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.*

Галина Врублевская

ГОРА ФУДЗИ И ПРОСТО ЯМА

*В давние времена в Японии
бедные семьи отправляли
своих стариков на гору Фудзияма
и оставляли их там умирать.
(Из мировой легенды)*

Этим летом, закончив писать очередной роман, я приехала отдохнуть на высокогорный курорт в Чехии. Приехала из России. Я много ходила пешком, спускалась из стоящего на холме отеля вниз, к целебным источникам, а испив прохладной, солоноватой воды возвращалась назад бегущей вверх улицей. Красная остроконечная крыша отеля на зеленом холме стала моим ориентиром в курортной жизни. На пути к нему я разглядывала изысканную архитектуру других отелей и рассеянным взглядом блуждала по окружающему пейзажу, пока то и другое не стало привычным и знакомым. И когда восторженность первых дней пребывания на курорте поутихла, я увидела наконец не только окружающие меня красоты, но и людей!

Однажды подымаясь в гору и делая через каждую сотню шагов остановки для отдыха, ведь возраст у меня далеко не юный, я заметила, что и другие путники карабкаются вверх так же медленно. Более того — даже те, кто спускался мне навстречу, шли неуверенной походкой, а некоторые опирались на палочку, чтобы сохранить равновесие. Остановившись, чтобы отдышаться в очередной раз, я стала разглядывать и посетителей, сидящих за столиками летних кафе у отелей — отели выстроились, тесно примкнув фасадами, вдоль одной стороны довольно широкой дороги. Другую сторону дороги ограничивал крутой обрыв, и я старалась не подходить к нему, лишь изредка со страхом и опаской заглядывая вниз.

Сделанное в тот день открытие ошеломило меня: большинство отдыхающих на этом курорте были, как и я, немолоды! Мой опытный взгляд определил их возраст: от шестидесяти и старше. И тогда в памяти всплыла легенда о японской горе Фудзияма, куда отправляли умирать стариков из бедных семей, избавляясь от лишних ртов. Здесь тоже была «Фудзияма», только вывернутая наизнанку: сюда напротив попадали родители взрослых обеспеченных детей! Лишь благодаря им они могли отдыхать в этом сказочном месте (я говорю уже о российских стариках). Встречались люди творческих профессий солидного возраста, еще способные заработать себе на отдых, ведь известно что творческое долголетие превосходит пенсионный рубеж. И главным было то, что сюда приезжали не умирать, а жить!

Но вернемся в Россию и вспомним, куда же сплавляют в нашей стране стариков из бедных семей, а тем более, стариков одиноких и нищих? Ответ очевиден: в дома престарелых. И по контрасту с открытой мною «Фудзиямой» для счастливых мне вспомнилась история из своего журналистского опыта.

В 90-е годы я работала репортером в городской газе-

те, в связи с чем мне дважды удалось навестить в богадельни, как раньше называли эти учреждения. В одном из них — он находился рядом с дворцовым ансамблем Павловска, в пригороде Петербурга — еще сохранялись отголоски престижности: до «перестройки» это был «Дом ветеранов партии». А приехала я туда вместе с творческой бригадой артистов, притом не уведомив об этом своего главного редактора.

Специально заказанный автобус привез нашу группу к железным воротам заведения. Добротный трехэтажный дом, украшенный портиком вход — дом хотя и без красной остроугольной крыши, как в Чехии, но вполне симпатичный. Артисты, с которыми я проникла в заведение, сразу отправились в концертный зал, куда уже согнали часть постояльцев, а я пустилась в одиночное плавание.

Широкий коридор, которым я шла, поразил безлюдьем. Можно было бы подумать, что все ушли на концерт, но нет: за дверями палат слышались голоса, часто громкие, возбужденные. И лишь в одной палате было тихо, а дверь оказалась гостеприимно приоткрытой! Я вошла, представилась и получила согласие поговорить. В комнате находилась одна-единственная женщина лет шестидесяти пяти, в цветастом халате, скрывающем ее полноватую фигуру, с седыми волосами, убранными в благообразную прическу. Она сидела за швейной машинкой вполоборота ко мне, положив одну руку на готовую продукцию, на белые полотняные бюстгалтеры.

Обитательница комнаты охотно рассказала о себе: проживает отдельно от прочих, потому что ее дети заплатили главврачу и потому, что она пока выполняет норму пошива бюстгалтеров. Куда они потом деваются, ей неизвестно, лучше об этом спросить у главврача. Она очень боится, что когда не будет сил справляться с «трудотерапией», то ее переведут в общую комнату на пять-семь человек. Я сочувственно кивала, слушая ее, поэтому она без утайки рассказала и свою предысторию. Жили семьей в одной комнате в коммуналке: она и двое взрослых сыновей — пожаловалась, что и трусы ей приходилось переодевать под одеялом. Вот она и согласилась сюда переехать, чтобы освободить сыновьям жилплощадь.

Впечатленная ее откровениями, я уже смелее постучала в одну из закрытых дверей. Здесь журналистке тоже оказались рады. Эти старушки были уже не столь адекватны, как швея бюстгалтеров, но еще активны. У кого-то на тумбочках я увидела иконки, у кого-то термос, стакан чаю. И борьба за справедливость еще разжигала их ослабленные инфарктами и инсультами сердца. То одна, то другая, отводили меня в сторонку и шепотом жаловалась на неряшливых соседок по комнате, на санитарок, требующих денег за помывку, на невнимательных врачей. Но позже главврач заведения уверял меня, что их жалобы не следует принимать всерьез, что это просто параноидальный бред. А затем, поддерживая меня под локоток — наверное, чтоб не сбежала — повел

в тот отсек заведения, куда я вряд ли добралась бы сама.

Мы вошли в просторную палату, где двумя рядами стояло около тридцати кроватей, и на каждой возлежала старушка. Лежали они на удивление тихо: ни слова, ни шепота, ни даже громкого вздоха. Тогда я удивилась их безмятежности, а позже знакомая врач пояснила, что старушек накачивают успокоительным, так что они пребывают в летаргическом полусне круглые сутки — такие вот «замороженные овощи». Я прошла по рядам, пыталась о чем-то спросить старушек, но вопрос тонул в их пустых, бессмысленных, почти неподвижных глазах. Я заметила, что и тумбочки у кроватей были первозданно чисты — уже ничего личного не оставалось в их жизни. Мне сказали, что на эти тумбы буфетчицы ставят тарелки с едой, когда кормят бабушек. Я смотрела на обитательниц палаты с грустью: почти все они когда-то были чьими-то мамами, а сейчас оказались ничьими старушками.

Тот репортаж, предъявленный тогда же главному редактору, в номер не пошел — более того: я получила нагоняй за самовольство, за то, что не согласовала свою поездку с руководством газеты. Но через неделю я получила добро на посещение другого дома престарелых, постояльцы которого не имели заслуг перед партией и правительством. Однако беседовать с обитателями мне позволили только в присутствии главврача. Но какие-то проблемы люди называли смело, видимо, говорить о них было дозволено. Одни жаловались на соседей по комнате, другие — более широко — на бывших заключенных, которые не подчинялись распорядку интерната. Наконец третьи требовали установить новый телефон-автомат взамен безнаказанно глотающего монеты, а лучше бы разрешить проживающим пользоваться бесплатным телефоном на посту дежурной.

Сам же главврач в беседе со мной делал упор на позитиве: имеются трудовые мастерские, где старики могут заработать толику денег; за всеми проживающими ведется медицинское наблюдение; в зимнем саду любители природы сами ухаживают за цветами. Особенно он гордился внедренным в доме соревнованием между комнатами — рассказал, как назначаются старосты, по какой системе оцениваются чистота и порядок в помещениях. И разумеется похвастался, что в интернате проводятся различные культурные мероприятия: киносеансы, концерты, лекции.

Этот репортаж о санкционированной поездке был одобрен руководством и вскоре появился в газете («Вечерний Петербург», 15.06.93 — «Лет до ста расти нам без

старостЫ!»).

И вновь я возвращаюсь на международный курорт, на «Фудзияму» для избранных. Россияне здесь — редкие птицы. Есть русские из Германии, Израиля, других стран. Но большинство — немцы или англичане. За рубежом люди, выходящие на пенсию, обеспечены прилично и могут купить себе путевки на курорт. Приезжают супружеские пары, небольшие группы — и можно с уверенностью сказать: все иностранцы на эту «гору» приехали благодаря собственным возможностям, а не милости детей.

Но как удручающе бедны люди моего поколения — дети «победителей», родившиеся перед Второй Мировой войной или вскоре после ее окончания. Сейчас им 65-75 лет, возраст активной еще старости, когда так необходимо бывает подправить здоровье, чтобы оставаться полезными членами общества. Но кем бы ни работали эти люди в прошлом — врачами, артистами, инженерами, учителями — все они уравнины сейчас в своей бедности. Часть из них влачат скромное существование дома, иные попали в богадельни, ныне громко называемые интернатами. И лишь малая группа стариков, осчастливленных своими детьми, попала еще при жизни в рай — или в «коммунизм», обещанный когда-то Никитой Хрущевым аж к 80-му году прошлого века!

Если забыть о деньгах, заплаченных за путевки, то можно представить, что все это великолепие бесплатно, как и должно быть при коммунизме. Пожилых людей, попавших на последний в жизни бал, обихаживают на процедурах молоденькие сестрички, нежно массируют их старые кости, вкалывают живительные инъекции. И вершина этого коммунизма — «шведский стол»! Здесь лежат деликатесы с незнакомыми названиями, изысканные сыры, наказанные в России санкциями, фрукты и красиво нарезанные овощи — и все в неограниченном количестве. Впрочем, сейчас почти все знают, что такое «шведский стол». А несведущим я поясню: «шведский стол» похож на русский новогодний стол! Там тоже салаты, варенья и соленья — бери, не хочу! Этим и заканчивается сходство двух столов.

Во всем остальном потоки стариков — тех, кто проводит три недели у «шведского стола» и тех, кто обедает раз в году за столом новогодним — разделяются на два неравных русла: на благословенную Фудзи и беспросветную Яму. Потому-то я и держалась подальше от края обрыва, поднимаясь на холм по улице высокогорного курорта, чтобы не рухнуть вниз.

Персона, События

Иосиф Милькин

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА. КАК Я ХОДИЛ К КИРОВУ

В институте я был секретарем комсомольской организации механического факультета. Однажды я о чем-то сильно поспорил с секретарем партийной организации института. К общему мнению мы не пришли, и тогда я собрал бюро комсомольской ячейки и предложил вынести постановление: парторганизацию института распустить и назначить новые выборы парткомов по всем факультетам. Самое смешное, что все комсомольцы со мной согласились.

Об этом узнали в райкоме комсомола и меня обвинили в авангардизме. Тогда я обиделся и пошел жаловаться к Кирову, бывшему в то время в Ленинграде секретарем обкома и горкома партии.

Демократическое было тогда время. К Кирову я попал без особых хлопот. Когда я вошел к нему в кабинет, из-за письменного стола поднялся невысокий широкоплечий человек с приятным, знакомым по портретам лицом и, приветливо улыбаясь, как равному, пожал мне руку.

— Ну, садись, — сказал он, — и выкладывай, что там у вас случилось.

Я рассказал. Внимательно выслушав меня, Сергей Миронович долго и заразительно смеялся, а потом сказал:

— Это хорошо, что ты такой активный комсомолец, но запомни, что комсомол является помощником партии, а не наоборот.

Подумав, я решил, что он все-таки прав, и моя обида прошла.

Прошло много лет. Я давно уже перерос комсомольский возраст, да и с партией наши пути давно разошлись, а встречу с Кировым я помню до сих пор во всех подробностях. Вероятно потому, что он со мной, мальчишкой по сути, обращался на равных. Не было в нем того чванства, которым отличаются теперешние вожди и вождята.

Для детей и юношества

Михаил Спивак

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВИННИ-ПУХА

Многие взрослые и дети любят замечательного персонажа сказок и мультфильмов, созданного писателем Аланом Милном, медвежонка Винни-Пуха. Однако не все знают, что прототипом Винни стал настоящий медвежонок, «служивший» в канадской армии времен Первой мировой войны.

Эта история началась в 1914 году. Лейтенант Гарри Колборн, ветеринар кавалерийского полка «Форт Гарри Хорс», был переведен в армейский ветеринарный корпус.

24 августа его поезд остановился в населенном пункте Уайт Ривер (White River), где лейтенант за двадцать долларов купил у охотника черного медвежонка. Зверь оказался девочкой. Медвежонка назвали Винни, в честь города Виннипег, откуда родом был Колборн.

В сентябре канадские войска отправились в Англию. Винни, отличавшаяся добрым характером, последовал за своим хозяином. Солдаты и офицеры любили медвежонка, который бродил за ними словно домашняя собака. Они кормили зверя и с удовольствием с ним фотографировались. Со временем Винни стала живым талисманом корпуса. Однако Колборну пришлось расстаться с любимым питомцем. Планировалась дальнейшая переброска канадских частей во Францию, где шли ожесточенные бои, поэтому животное оставили в лон-

донском зоопарке.

Через несколько лет после появления Винни в зоопарке к ее клетке стал часто приходить маленький мальчик Кристофер со своим отцом Аланом Милном. Мальчик полюбил медведицу, и та отвечала ему взаимностью. Работники зоопарка разрешали Кристоферу входить в клетку и кормить Винни. Под впечатлением от любимого зверя, мальчик назвал именем Винни своего плюшевого медвежонка, которого Алан Милн подарил ему на первый день рождения.

Когда Милн сел писать для сына сказку, он решил, что местом действия должен стать Эшдаунский лес, который был хорошо знаком мальчику. И персонажи оказались под рукой. Первый — Винни-Пух (Winnie-the-Pooh), плюшевый медведь, — любимая игрушка сына. Ослика Иа Кристоферу Робину подарили на Рождество. Пятачка принес сосед. Спустя некоторое время Милн купил в Лондоне Крошку Ру, Тигру и Кенгу. Кролик и Сова не были плюшевыми. Их живые прототипы в большом количестве водились в Эшдаунском лесу, который Милн называл Зачарованным.

Медведица Винни прожила в лондонском зоопарке до преклонного возраста, а Кристофер Робин вырос и передал свои игрушки в музей, где они хранятся до сих пор.

Наши проекты





ДЕТСКИЙ ВСЕКАНАДСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«ПИШЕМ И ГОВОРИМ ПО-РУССКИ»

Предоставляет уникальную возможность
школьникам от 9 до 18 лет
раскрыть свой творческий потенциал

Литературный Альманах:
НОВЫЙ СВЕТ
Канада

- Считаете себя талантливым сочинителем и рассказчиком? Номинация прозы для Вас.
- Чувствуете гармонию рифмы и тягу к поэзии? Отправляйте Ваши стихи.
- Владеете в совершенстве русским и английским языками?

Хотите испытать свои знания? Попробуйте себя в литературном переводе.

Лучшие работы участников будут напечатаны в «Альманахе Победителей» вместе с произведениями известных детских авторов. Победителей ждут призы и памятные подарки.

Прием конкурсных работ с 01.09.2014 по 15.04.2015
Отправлять по адресу info@litsvet.com
Условия для участников <http://litsvet.com>

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА

Российский Фонд культуры



International Board of Books for Young People (IBBY)



Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского



Журнал «Мурзилка»



РЕДКОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: **Алёна Жукова**
Заместитель главного редактора: **Михаил Спивак**
Генеральный менеджер: **Дмитрий Шишкин**
Коммерческий директор: **Валерий Коган**

Корректоры: **Елена Милькина, Елена Кузьмич**
Дизайнер: **Анастасия Кондратьева**
Тех. поддержка: **Николай Ярославцев**

Издательство «Litsvet»

Сетевой журнал <http://litsvet.com> Электронная почта info@litsvet.com

Журнал «Новый Свет» издается ежеквартально в электронном формате и два раза в год — в печатном.
Верстка выполнена издательским отделом редакции «Litsvet».

ISSN 2292-7484

